

**СОЧИНЕНІЯ А. ПУШКИНА.**

**VI.**



# СОЧИНЕНИЯ

Александра Пушкина.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФИИ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

MDCCCXXXVIII.

**ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,**  
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ  
Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.  
С. Петербургъ, 3 Апрѣля 1838.

*Ценсоръ Никитенко.*

**ПОВѢСТИ.**



# ПШКОВАЯ ДАМА.



# ПИКОВАЯ ДАМА.



Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

*Костюмная габаритная книга*

## I.

А въ несчастные дни  
Собирались они  
Часто;  
Глухъ — Боже ихъ прости! —  
Отъ 50  
На 100,  
И выигрывали,  
И отигрывали  
Мѣломъ.  
Такъ, въ несчастные дни,  
Замкнулись они  
Дѣломъ.

Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; сѣли ужинать въ пятомъ часу утра. Тѣ, которые остались въ выигрышѣ, ѣли съ большимъ апетитомъ; прочіе, въ разсѣянности, сидѣли передъ пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговоръ оживился, и всѣ приняли въ немъ участіе.

«Что ты сдѣлалъ, Суринъ? спросилъ хозяинъ.

— Проигралъ, по обыкновенію. Надобно признаться, что я несчастливъ: играю мирандролемъ, никогда не горячусь, ничѣмъ меня съ толку не собьешь, а все проигрываюсь!

«И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставилъ на *руте*? . . . Твердость твоя для меня удивительна.

— А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указывая на молодого инженера: отъ роду не бралъ онъ карты въ руки, отъ роду не загнулъ ни одного паролъ, а до пяти часовъ сидитъ съ нами, и смотреть на нашу игру!

«Игра занимаетъ меня сильно, сказалъ Германнъ: но я не въ состояніи жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее.

— Германнъ Нѣмецъ: онъ расчетливъ, вотъ и все! замѣтилъ Томскій. А если кто для меня непонятенъ, такъ это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

«Какъ? что? закричали гости.

— Не могу постигнуть, продолжалъ Томскій: какимъ образомъ бабушка моя не понтируетъ!

«Да что жъ тутъ удивительнаго, сказалъ Нарумовъ, что осьмидесятилѣтняя старуха не понтируетъ?

— Такъ вы ничего про нее не знаете?

«Нѣтъ! право, ничего!

— О, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка моя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, ѣздила въ Парижъ, и была тамъ въ большой модѣ. Народъ бѣгалъ за нею, чтобъ увидѣть la Vénus moscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка увѣряетъ, что онъ чуть-было не застрѣлился отъ ея жестокости. Въ то время дамы играли въ фараонъ. Однажды при дворѣ она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что - то очень много. Пріѣхавъ домой, бабушка, отяѣшная мушки съ лица и отвязывая фіжмы, объявила дѣдушкѣ о своемъ проигрышѣ, и приказала заплатить. Покойный дѣдушка, сколько я помню, былъ родъ бабупкина дворецкаго. Онъ ее боялся, какъ огня; однако, услышавъ о такомъ ужасномъ проигрышѣ, онъ вышелъ изъ себя, принесъ счеты, доказалъ ей, что въ годъ они издержали полмилліона, что подъ Парижемъ нѣтъ у нихъ ни Подмосквонной, ни Саратовской деревни, и начисто отказался отъ платежа. Бабушка дала ему женщину, и легла спать одна, въ знакъ своей немощности. На другой день она велѣла позвать мужа, надѣясь, что домашнее наказаніе надъ нимъ подѣйствовало, но нашла его непоколебимымъ. Въ первой разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разсужденій и объясненій; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долгъ долгу розъ, и что есть раз-

нища между принцемъ и каретникомъ. — Куда! дѣдушка бунтоваль. Нѣтъ, да и только! Бабушка не знала, что дѣлать. Съ нею былъ коротко знакомъ человекъ очень замѣчательный. Вы слышали о графѣ Сень-Жерменѣ, о которомъ рассказываютъ такъ много чудеснаго. Вы знаете, что онъ выдавалъ себя за вѣчнаго жида, за изобрѣтателя жизненнаго эликсира и философскаго камня, и прочая. Надъ нимъ смѣялись, какъ надъ шарлатаномъ, а Казанова въ своихъ Запискахъ говоритъ, что онъ былъ шпионъ; впрочемъ Сень-Жерменъ, не смотря на свою таинственность, имѣлъ очень почтенную наружность, и былъ въ обществѣ человекъ очень любезный. Бабушка до сихъ поръ любить его безъ памяти, и сердится, если говорятъ объ немъ съ неуваженіемъ. Бабушка знала, что Сень-Жерменъ могъ располагать большими деньгами. Она рѣшилась къ нему прибѣгнуть. Написала ему записку, и просила немедленно къ ней пріѣхать. Старый чудакъ явился тотчасъ, и засталъ ее въ ужасномъ горѣ. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа, и сказала наконецъ, что всю свою надежду полагаетъ на его дружбу и любезность. Сень-Жерменъ задумался. «Я могу вамъ услужить этой суммою,» сказалъ онъ, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желалъ вво-

дить васъ въ новыя хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться.» — Но, любезный графъ, отвѣчала бабушка, я говорю вамъ, что у насъ денегъ вовсе нѣтъ. — «Деньги тутъ не нужны,» возразилъ Сень-Жермень: «извольте меня выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую всякой изъ насъ дорого бы далъ . . . .

Молодые игроки удвоили вниманіе. Томскій закурилъ трубку, затаился, и продолжалъ.

— Въ тотъ же самой вечеръ бабушка явилась въ Версали, au jeu de la reine. Герцогъ Орлеанскій металъ; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, въ оправданіе сплела маленькую исторію, и стала противъ него понтировать. Она выбрала три карты, поставила ихъ одну за другою: всѣ три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

Случай! сказалъ одинъ изъ гостей.

~~Сказалъ~~ ~~сказалъ~~ Германнь.

Можетъ статься, порошковые карты! подхватилъ третій.

— Не думаю, отвѣчалъ важно Томскій.

«Какъ, сказалъ Нарумовъ: у тебя есть бабушка, которая угадываетъ три карты сряду, а ты до сихъ поръ не перенялъ у ней ея кабалистики?»

— Да, чорта съ два! отвѣчалъ Томскій: у нея было четверо сыновей, въ томъ числѣ и мой отецъ; всѣ

трое отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это было бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ что мнѣ рассказывалъ дядя, графъ Иванъ Ильичъ, и въ чемъ онъ меня увѣрялъ честию. Покойный Чаплицкій, тотъ самый, который умеръ въ нищету, промотавъ миллионы, однажды въ молодости свой проигралъ — помнится Зоричу — около трехъ сотъ тысячъ. Онъ былъ въ отчаяніи. Бабушка, которая всегда была строга къ шалостямъ молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ тѣмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну за другою, и взяла съ него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкій явился къ своему побѣдителю: они сѣли играть. Чаплицкій поставилъ на первую карту пятьдесятъ тысячъ, и выигралъ соника; загнулъ пароли, пароли - пе — отыгрался, и остался еще въ выигрышѣ . . . .

Однако пора спать: уже безъ четверти шесть.

Въ самомъ дѣлѣ, ужъ разсвѣтало: молодые люди допили свои рюмки, и развѣхались.



## II.

— Il paraît que monsieur est décidément  
pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont  
plus fraîches.

*Слѣдующій разговоръ.*

Старая графиня \*\*\* сидѣла въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три дѣвушки окружали ее. Одна держала банку румянъ, другая коробку со щипльками, третья высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не имѣла ни малѣйшаго притязанія на красоту давно увядшую, но сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго слѣдовала модамъ семидесятыхъ годовъ, и одѣвалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. У окошка сидѣла за пяльцами барышня, ея воспитанница.

Здравствуйте, grand' maman, сказалъ, вошедши, молодой офицеръ. Bon jour, mademoiselle Lise.  
Grand'maman, я къ вамъ съ просьбою.

— Что такое, Paul?

«Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей, и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.

— Привези его прямо на балъ, и тутъ мнѣ его и представишь. Былъ ты вчерась у \*\*\*?

«Какъ же! очень было весело; танцевали до пяти часовъ. Какъ хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова ли была ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?... Кстати: я, чай, она ужъ очень постарѣла, княгиня Дарья Петровна?

«Какъ, постарѣла? отвѣчалъ разсѣянно Томскій: она лѣтъ семь какъ умерла.

Барышня подняла голову, и сдѣлала знакъ молодому человѣку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини тайли смерть ея ровесницъ, и закусилъ себѣ губу. Но графиня услышала вѣсть, для нея новую, съ большимъ равнодушіемъ.

— Умерла! сказала она: а я и не знала! Мы вмѣстѣ были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то Государыня.....

И графиня въ сотый разъ рассказала внуку свой анекдотъ.

— Ну, Paul, сказала она потомъ: теперь помоги мнѣ встать. Лизанька, гдѣ моя табакерка?

И графиня со своими дѣвушками пошла за ширмами оканчивать свой туалетъ. Томскій остался съ барышнею.

«Кого это вы хотите представить? тѣло спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова; вы его знаете?

«Нѣтъ! Онъ военный, или статскій?

— Военный.

«Инженеръ?

— Нѣтъ! кавалеристъ. А почему вы думали, что онъ инженеръ?

Барышня засмѣялась, и не отвѣчала ни слова.

«Рац! закричала графиня изъ-за ширмъ: пришли мнѣ какойнибудь новый романъ, только, пожалуйста, не изъ нынѣшнихъ.

— Какъ это, grand'-маман?

«То есть, такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ ни отца, ни матери, и гдѣ бы не было утопленныхъ тѣлъ. Я ужасно боюсь утопленниковъ!

— Такихъ романовъ нынче нѣтъ. Не хотите ли развѣ Русскихъ?

«А развѣ есть Русскіе романы?... Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!

— Простите, grand'-маман: я спѣшу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумовъ инженеръ?

И Томскій вышелъ изъ уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной сторонѣ улицы изъ-за угольнаго дома показался молодой офицеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки: она принялась опять за работу, и наклонила голову надъ самой канвою. Въ это время вошла графиня, совсѣмъ одѣтая.

— Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и поѣдемъ прогуляться.

Лизанька встала изъ-за пялецъ и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что-ли! закричала графиня. Вели скорѣй закладывать карету.

«Сейчасъ! отвѣчала тихо барышня, и побѣжала въ переднюю.

Слуга вошелъ, и подалъ графинѣ книги отъ князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, сказала графиня. Лизанька, Лизанька! да куда жъ ты бѣжишь?

«Одѣваться.

— Успѣешь, матушка. Сиди здѣсь. Раскрой-ка первый томъ; читай вслухъ . . . .

Барышня взяла книгу, и прочла нѣсколько строкъ.

— Громче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ голосу спала, что ли? . . . погоди подвинь мнѣ скамеечку; ближе. . . ну!

Лизавета Ивановна прочла еще двѣ страницы. Графиня зѣвнула.

— Брось эту книгу, сказала она: что за вздорь! Отошли это князю Павлу, и вели благодарить. . . . Да что-жь карета? . . .

Карета готова, сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ на улицу.

— Чтожь ты не одѣта? сказала графиня: всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несомно.

Лиза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ минутъ, Графиня начала звонить изо всей мочи. Три дѣвушки вбѣжали въ одну дверь, а камердинеръ въ другую.

— Что это васъ не докличешься? сказала имъ Графиня. Сказать Лизаветѣ Ивановнѣ, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла въ капотѣ и въ шляпкѣ.

— Наконецъ, мать моя! сказала графиня. Что за наряды! Зачѣмъ это? . . . кого прельщать? . . . А какова погода? — кажется, вѣтеръ.

«Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ! отвѣчалъ камердинеръ.

— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ и есть: вѣтеръ! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поѣдемъ: нечего было наряжаться.

И вотъ моя жизнь! подумала Лизавета Ивановна.

Въ самомъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была несчастное созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говорить Данте, и тяжелы ступени чужаго крыльца, а кому и знать горечь зависимости, какъ не бѣдной воспитанницѣ знатной старухи? Графиня \*\*\*, конечно, не имѣла злой души; но была своенравна, какъ женщина, избалованная свѣтомъ, скупа и погружена въ холодный эгоизмъ, какъ и всѣ старые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоящему. Она участвовала во всѣхъ суетностяхъ большаго свѣта; таскалась на балы, гдѣ сидѣла въ углу, разрумяненная и одѣтая по старинной модѣ, какъ уродливое и необходимое украшеніе бальной залы; къ ней съ низкими поклонами подходили пріѣзжающіе гости, какъ по установленному обряду, и потомъ уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь городъ, наблюдая строгій этикетъ и не узнавая никого въ лице. Многочисленная челядь ея, разжирѣвъ и посѣдѣвъ въ ея передней и дѣвичьей, дѣлала, что хотѣла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай, и получала выговоры за лишній расходъ сахара; она вслухъ читала романы, и виновата была во всѣхъ ошибкахъ ав-

тора; она сопровождала Княгиню въ ея прогулкахъ, и отвѣчала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тѣмъ требовали отъ нея, чтобъ она одѣта была, какъ и всѣ, то есть, какъ очень немногія. Въ свѣтѣ играла она самую жалкую роль. Всѣ ее знали, и никто не замѣчалъ; на балахъ она танцевала только тогда, какъ не доставало *vis-à-vis*, и дамы брали ее подъ руку всякой разъ, какъ имъ нужно было итти въ уборную поправить что-нибудь въ своемъ нарядѣ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе, и глядѣла кругомъ себя — съ нетерпѣніемъ ожидала избавителя; но молодые люди, расчетливые въ вѣтrenomъ своемъ тщеславіи, не удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ милѣе наглыхъ и холодныхъ невѣстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ бѣдной своей комнатѣ, гдѣ стояли ширмы, оклеенныя обоями, комодъ, зеркальце и крашенная кровать, и гдѣ сальная свѣча темно горѣла въ мѣдномъ шандалѣ!

Однажды — это случилось два дня послѣ вечера, описаннаго въ началѣ этой повѣсти, и за недѣлю передъ той сценой, на которой мы остановились — однажды Лизавета Ивановна, сидя

подъ окопкомъ за пальцами, нечаянно взглянула на улицу, и увидѣла молодаго инженера, стоящаго неподвижно и устремившаго глаза къ ея окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; черезъ пять минутъ взглянула опять — молодой офицеръ стоялъ на томъ же мѣстѣ. Не имѣя привычки кокетничать съ прохожими офицерами, она перестала глядѣть на улицу, и шила около двухъ часовъ, не приподнимая головы. Подали обѣдать. Она встала, начала убирать свои пальцы, и, взглянувъ нечаянно на улицу, опять увидѣла офицера. Это показалось ей довольно страннымъ. Послѣ обѣда она подошла къ окошку съ чувствомъ нѣкотораго безпокойства, но уже офицера не было — и она про него забыла. . . .

Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету, она опять его увидѣла. Онъ стоялъ у самага подъѣзда, закрывъ лице бобровымъ воротникомъ: черные глаза его сверкали изъ-подъ шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и сѣла въ карету съ трепетомъ неизъяснимымъ.

Возвратясь домой, она подбѣжала къ окошку — офицеръ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, устремивъ на нее глаза: она отошла, мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для нея совершенно новымъ.

Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человѣкъ, въ извѣстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома. Между имъ и ею учредились безусловныя сношенія. Сидя на своемъ мѣстѣ за работой, она чувствовала его приближеніе — подымала голову, смотрѣла на него съ каждымъ днемъ долѣе и долѣе. Молодой человѣкъ, казалось, былъ за то ей благодаренъ: она видѣла острымъ взоромъ молодости, какъ быстрый румянецъ покрывалъ его блѣдныя щеки всякой разъ, когда взоры ихъ встрѣчались. Черезъ недѣлю она ему улыбнулась. . . .

Когда Томскій спросилъ позволенія представить графинѣ своего пріятеля, сердце блѣдной дѣвушки забилось. Но узнавъ, что Нарумовъ, не инженеръ, а конногвардеецъ, она сожалѣла, что нескромнымъ вопросомъ высказала свою тайну вѣтреному Томскому.

Германнъ былъ сынъ обрусѣвшаго Нѣмца, оставившаго ему маленькій капиталъ. Будучи твердо убѣжденъ въ необходимости упрочить свою независимость, Германнъ не касался и процентовъ, жилъ однимъ жалованьемъ, не позволялъ себѣ малѣйшей прихоти. Впрочемъ, онъ былъ скрытенъ и честолюбивъ, и товарищи его рѣдко имѣли случай посмѣяться надъ его излишней бережливостью. Онъ имѣлъ сильныя страсти и огненное вообра-

женіе, но твердость спасла его отъ обыкновенныхъ заблужденій молодости. Такъ, напримѣръ, будучи въ душѣ игрокъ, никогда не бралъ онъ карты въ руки, ибо рассчиталъ, что его состояніе не позволяло ему (какъ сказывалъ онъ) жертвовать необходимымъ въ надеждѣ приобрести излишнее — а между тѣмъ, цѣлыя ночи просиживалъ за карточными столами, и слѣдовалъ съ лихорадочнымъ трепетомъ за различными оборотами игры.

Анекдотъ о трехъ картахъ сильно подѣйствовалъ на его воображеніе, и цѣлую ночь не выходилъ изъ его головы. — Что, если, думалъ онъ на другой день вечеромъ, бродя по Петербургу: что, если старая графиня откроетъ мнѣ свою тайну! — или назначить мнѣ эти три вѣрныя карты! Почему жъ не попробовать своего счастья?... Представиться ей, подбититься въ ея милость — пожалуй, сдѣлаться ея любовникомъ; но на все это требуется время, а ей 87 лѣтъ; она можетъ умереть черезъ недѣлю, черезъ два дня!... Да и самый анекдотъ?... Можно ли ему вѣрить?... Нѣтъ! расчетъ, умѣренность и трудолюбіе: вотъ мои три вѣрныя карты, вотъ что утроить, усмерить мой капиталъ, и доставить мнѣ покой и независимость! — Разсуждая такимъ образомъ, очутился онъ въ одной изъ глав-

ныхъ улицъ Петербурга, передъ домою старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились къ освѣщенному подъѣзду. Изъ каретъ поминутно вытягивались то стройная ножка молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулокъ и дипломатическiй башмакъ. Шубы и плащи мелькали мимо величаваго швейцара. Германнъ остановился.

— Чей это домъ? спросилъ онъ у угловаго будочника.

— Графини\*\*\*, отвѣчалъ будочникъ.

Германнъ затрепеталъ. Удивительный анекдотъ снова представился его воображенiю. Онъ сталъ ходить около дома, думая объ его хозяйкѣ и о чудной ея способности. Поздно воротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго не могъ заснуть, и, когда сонъ имъ овладѣлъ, ему пригрѣзлись карты, зеленый столъ, кипы ассигнацiй и груды червонцевъ. Онъ ставилъ карту за картой, гнулъ углы рѣшительно, выигрывалъ безпрестанно, и загребалъ къ себѣ золото, и клалъ ассигнацiи въ карманъ. Проснувшись уже поздно, онъ вздохнулъ о потерѣ своего фантастическаго богатства, пошелъ опять бродить по городу, и опять очутился передъ домою графини\*\*\*. Невѣдомая сила, казалось, привлекала его къ нему. Онъ остано-

вился, и сталъ смотрѣть на окна. Въ одномъ увидѣлъ онъ черноволосую голову, наклоненную, вѣроятно, надъ книгой или надъ работой. Головка приподнялась. Германнъ увидѣлъ свѣжее личико и черные глаза. Эта минута рѣшила его участь.



## III.

Vous écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.

*Перевод.*

Только Лизавета Ивановна успѣла снять капоть и шляпу, какъ уже графиня послала за нею, и велѣла опять подавать карету. Онѣ пошли садиться. Въ то самое время, какъ два лакея приподняли старуху и просунули въ дверцы, Лизавета Ивановна у самага колеса увидѣла своего инженера; онъ схватилъ ея руку; она не могла опомниться отъ испугу, и молодой человѣкъ исчезъ: письмо осталось въ ея рукѣ. Она спрятала его за перчатку, и во всю дорогу ничего не слышала и не видала. Графиня имѣла обыкновеніе поминутно дѣлать въ каретѣ вопросы: кто это съ нами встрѣтился? — какъ зовутъ этотъ мостъ? — что тамъ написано на вывѣскѣ? Лизавета Ивановна на сей разъ отвѣчала наобумъ и невпопадъ, и разсердила графиню.

— Что съ тобою сдѣлалось, мать моя! Столбнякъ на тебя нашель, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь? . . .! Слава Богу, я не картавлю, и изъ ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ея не слушала. Возвратясь домой, она побѣжала въ свою комнату, вынула изъ-за перчатки письмо: оно было незапечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало въ себѣ признаніе въ любви: оно было нѣжно, почтительно и слово-въ-слово взято изъ Нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-Нѣмецки не умѣла и была очень имъ довольна.

Однако принятое ею письмо безпокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она въ тайныя, тѣсныя сношенія съ молодымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя въ неосторожномъ поведеніи, и не знала, что дѣлать: перестать ли сидѣть у окошка, и невниманіемъ охладить въ молодомъ офицерѣ охоту къ дальнѣйшимъ преслѣдованіямъ? — отослать ли ему письмо? — отвѣчать ли холодно и рѣшительно? Ей не съ кѣмъ было посовѣтоваться: у нея не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна рѣшилась отвѣчать.

Она сѣла за письменный столикъ, взяла перо, бумагу, и задумалась. Нѣсколько разъ начинала она свое письмо — и рвала его: то выраженія

казались ей слишкомъ снисходительными, то слишкомъ жестокиими. Наконецъ ей удалось написать нѣсколько строкъ, которыми она осталась довольна. «Я увѣрена, писала она, что вы имѣете честныя намѣренія, и что вы не хотѣли оскорбить меня необдуманнѣмъ поступкомъ; но знакомство наше не должно бы начаться такимъ образомъ. Возвращаю вамъ письмо ваше, и надѣюсь, что не буду впредь имѣть причины жаловаться на незаслуженное неуваженіе.»

На другой день, увидя идущаго Германна, Лизавета Ивановна встала изъ-за пьальцевъ, вышла въ залу, отворила форточку, и бросила письмо на улицу, надѣясь на проворство молодого офицера. Германнъ подбѣжалъ, поднялъ его, и вошелъ въ кондитерскую лавку. Сорвавъ печать, онъ нашелъ свое письмо, и отвѣтъ Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня послѣ того, Лизаветъ Ивановнѣ молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ, предвидя денежныя требованія, и вдругъ узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, сказала она: эта записка не ко мнѣ.

«Нѣтъ, точно къ вамъ! отвѣчала смѣлая дѣвушка, не скрывая лукавой улыбки. Извольте прочитать!»

Лизавета Ивановна пробѣжала записку. Германнъ требоваль свиданія.

— Не можетъ-быть! сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспѣшности требованій, и способу, имъ употребленному. Это писано вѣрно не ко мнѣ! — И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.

«Коли письмо не къ вамъ, зачѣмъ же вы его разорвали? сказала мамзель: я бы возвратила его тому, кто его послалъ.

— Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замѣчанія: впередъ ко мнѣ записокъ не носите. А тому, кто васъ послалъ, скажите, что ему должно быть стыдно....

Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала отъ него письма, то тѣмъ, то другимъ образомъ. Онѣ уже не были переведены съ Нѣмецкаго. Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный страстію, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымъ: въ нихъ выражались и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она уицвчалась ими; стала на нихъ отвѣчать — и ея записки часъ отъ часу стано-

вились длиннѣе и нѣжнѣе. Наконецъ, она бросила ему въ окошко слѣдующее письмо: «Сегодня балъ у \*\*\*скаго посланника. Графиня тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай увидѣть меня наединѣ. Какъ скоро графиня уѣдетъ, ея люди вѣроятно разойдутся, въ снѣгахъ останется швейцарь, но и онъ обыкновенно уходитъ въ свою каморку. Приходите въ половинѣ двѣнадцатаго. Ступайте прямо на лѣстницу. Коли вы найдете кого въ передней, то вы спросите, дома ли Графиня. Вамъ скажутъ нѣтъ — и дѣлать нечего, вы должны будете воротиться. Но вѣроятно вы не встрѣтите никого. Дѣвушки сидятъ у себя, всѣ въ одной комнатѣ. Изъ передней ступайте направо, идите все прямо до графининой спальни. Въ спальнѣ за ширмами увидите двѣ маленькія двери: справа въ кабинетъ, куда графиня никогда не входитъ; слѣва въ коридоръ, и тутъ же узенькая витая лѣстница: она ведетъ въ мою комнату.»

Германнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначеннаго времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ графини. Погода была ужасная: вѣтеръ вылъ, мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; фонари свѣтились тускло; улицы были пусты. Изрѣдка тянулся Ванька на тоней клѣчъ своей, высматривая запоздалаго сѣдока. Германнъ

стоялъ въ одномъ сюртукѣ, не чувствуя ни вѣтра, ни снѣга. Наконецъ графинину карету подали. Германнъ видѣлъ, какъ лакеи вынесли подъ руки сгорбленную старуху, укутанную въ соболью шубу, и какъ вослѣдъ за нею, въ холодномъ плащѣ, съ головой, убранною свѣжими цвѣтами, мелькнула ея воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатила по рыхлому снѣгу. Швейцаръ заперъ двери. Окна померкли. Германнъ сталъ ходить около опустѣвшаго дома; онъ подошелъ къ фонарю, взглянулъ на часы, было двадцать минутъ двѣнадцатаго. Онъ остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на часовую стрѣлку и выжидая остальные минуты. Ровно въ половицѣ двѣнадцатаго Германнъ ступилъ на графинино крыльцо и вошелъ въ яркоосвѣщенные сѣни. Швейцара не было. Германнъ взбѣжалъ по лѣстницѣ, отворилъ двери въ переднюю, и увидалъ слугу, спящаго подъ лампою, въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ прошелъ мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освѣщала ихъ изъ передней. Германнъ вошелъ въ спальню. Передъ кивотомъ, наполненнымъ старинными образами, теплилась золотая лампада. Поляныя штофныя кресла и диваны съ пуховыми подушками, съ сошедшей позолотою, стояли въ печальной симметріи около стѣнъ,

обитыхъ китайскими обоями. На стѣнѣ висѣли два портрета, писанные въ Парижѣ М<sup>е</sup> Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчину лѣтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свѣтлозеленомъ мундирѣ и со звѣздою; другой, молодую красавицу съ орлинымъ носомъ, съ зачесанными висками и съ розою въ пудренныхъ волосахъ. По всѣмъ угламъ торчали фарфоровыя пастушки, столовые часы работы славнаго Leger, корбочки, рулетки, вѣера и разныя дамскія игрушки, изобрѣтенныя въ концѣ минувшаго столѣтїа вмѣстѣ съ Монгольфьеровымъ шаромъ и Месмеровымъ магнетизмомъ. Германнъ пошелъ за ширмы. За ними стояла маленькая желѣзная кровать; справа находилась дверь, ведущая въ кабинетъ; слѣва, другая въ коридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидѣлъ узкую, витую лѣстницу, которая вела въ комнату бѣдной воспитанницы.... Но онъ воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.

Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило двѣнадцать — и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной печкѣ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его билось ровно, какъ у человѣка, рѣшившагося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй часъ утра — и онъ услышалъ дальнїй стукъ кареты. Невольное волненїе овладѣло имъ. Карета

подбѣжала и остановилась. Онъ услышалъ стукъ опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздались голоса и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали три старыя горничныя, и графиня, чуть живая, вошла, и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ услышалъ ея торопливые шаги по ступенямъ ея лѣстницы. Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее на угрызеніе совѣсти, и снова умолкло. Онъ окаменѣлъ.

Графиня стала раздѣваться передъ зеркаломъ. Откололи съ нея чепецъ, украшенный розами; сняли напудренный парикъ съ ея сѣдой и плотно остриженной головы. Булавки дождемъ сыпались около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упало къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидѣтелемъ отвратительныхъ тайнствъ ея туалета: наконецъ, графиня осталась въ спальной кофтѣ и ночномъ чепцѣ: въ этомъ нарядѣ, болѣе собственномъ ея старости, она казалась менѣе ужасна и безобразна.

Какъ и всѣ старыя люди вообще, графиня страдала безсонницею. Раздѣвшись, она сѣла у окна въ вольтеровы кресла, и отослала горничныхъ. Свѣчи вынесли, комната опять освѣтилась одною лампадою. Графиня сидѣла вся желтая,

шевели отвислыми губами, качаясь направо и налево. Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качаніе страшной старухи происходило не отъ ея воли, но по дѣйствию скрытаго гальванизма.

Вдругъ это мертвое лице измѣнилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: передъ графинею стоялъ незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! ска-  
заль онъ внятнымъ и тихимъ голосомъ. Я не  
имѣю намѣренія вредить вамъ; я пришелъ умолять  
васъ объ одной милости.

Старуха молча смотрѣла на него и, казалось,  
его не слыхала. Германъ вообразилъ, что она глуха,  
и наклонясь надъ самымъ ея ухомъ повторилъ ей  
то же самое. Старуха молчала попрежнему.

— Вы можете, продолжалъ Германъ, составить  
счастіе моей жизни, и оно ничего не будетъ вамъ  
стоять: я знаю, что вы можете угадать три карты  
сряду . . . . .

Германъ остановился. Графиня, казалось, поняла,  
чего отъ нея требовали; казалось, она искала словъ  
для своего отвѣта.

«Это была шутка, сказала она наконецъ: кля-  
нись вамъ, это была шутка!

— Этимъ нечего шутить, возразилъ сердито Германнъ. Вспомните Чаплицкаго, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ея изобразили сильное движеніе души, но она скоро впала въ прежнюю безчувственность.

— Можете ли вы, продолжалъ Германнъ, назначить мнѣ эти три вѣрныя карты?

Графиня молчала; Германъ продолжалъ:

— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ? Они богаты и безъ того; они же не знаютъ и цѣны деньгамъ. Могутъ не помогутъ ваши три карты. Кто не умѣетъ беречь отцовское наслѣдство, тотъ все - таки умретъ въ нищетѣ, не смотря ни на какія демонскія усилія. Я не мотъ; я знаю цѣну деньгамъ. Ваши три карты для меня не пропадутъ. Ну! . . . .

Онъ остановился, и съ трепетомъ ожидалъ ея отвѣта. Графиня молчала; Германъ сталъ на колѣни.

— Если когда-нибудь, сказалъ онъ, сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ея восторги, если вы хоть разъ улыбнулись при плачѣ новорожденнаго сына, если что нибудь человѣческое билось когда-нибудь въ груди вашей, то умоляю васъ чувствами супруги, любовницы, матери, всѣмъ, что ни есть святаго въ жизни, не откажите мнѣ въ моей просьбѣ! откройте мнѣ вашу тайну! что

вамъ въ ней?... Можетъ-быть, она сопряжена съ ужаснымъ грѣхомъ, съ пагубою вѣчнаго блаженства, съ дьявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы стары; жить вамъ ужь недолго — я готовъ взять грѣхъ вашъ на свою душу. Откройте мнѣ только вашу тайну. Подумайте, что счастье человѣка находится въ вашихъ рукахъ; что не только я, но дѣти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу память и будутъ ее чтить, какъ святыню....

Старуха не отвѣчала ни слова.

Германъ всталъ.

— Старая вѣдьма! сказалъ онъ, стиснувъ зубы: такъ я жь заставлю тебя отвѣчать....

Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолеть.

При видѣ пистолета графиня во второй разъ оказала сильное чувство. Она закивала головою; и подняла руку, какъ бы заслоняясь отъ выстрѣла... Потомъ поклатилась навзничь ... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, сказалъ Германъ, взявъ ея руку. Спрашиваю въ послѣдній разъ: хотите ли назначить мнѣ ваши три карты? — да или нѣтъ?

Графиня не отвѣчала. Германъ увидѣлъ, что она умерла.



## IV.

7 Mai 18 \*\*.

Homme sans mœurs et sans religion!

*Переписка.*

Лизавета Ивановна сидѣла въ своей комнатѣ, еще въ бальномъ своемъ нарядѣ, погруженная въ глубокія размышленія. Пріѣхавъ домой, она спѣшила отослать заспанную дѣвку, нехотя предлагавшую ей свою услугу — сказала, что раздѣнется сама, и съ трепетомъ вошла къ себѣ, надѣясь найти тамъ Германна и желая не найти его. Съ перваго взгляда она удостовѣрилась въ его отсутствіи, и благодарила судьбу за препятствіе, помѣшавшее ихъ свиданію. Она сѣла, не раздѣваясь, и стала припоминать всѣ обстоятельства, въ такое короткое время и такъ далеко ее завлекшія. Не прошло трехъ недѣль съ той поры, какъ она въ первый разъ увидѣла въ окошко молодого чело-вѣка, и уже она была съ нимъ въ перепискѣ, и онъ успѣлъ вытребовать отъ нея ночное свиданіе.

нѣ! Она знала имя его, потому только, что нѣкоторыя изъ его писемъ были имъ подписаны; никогда съ нимъ не говорила, не слыхала его голоса, никогда о немъ не слыхала . . . до самаго сего вечера. Странное дѣло! Въ самой тотъ вечеръ, на балѣ, Томскій, дуясь на молодую княжну Полину \*\*\*, которая, противъ обыкновенія, кокетничала не съ нимъ, желала отомстить, оказывая равнодушіе: онъ позвалъ Елисавету Ивановну, и танцевалъ съ нею безконечную мазурку. Во все время шутилъ онъ надъ ея пристрастіемъ къ инженернымъ офицерамъ, увѣрялъ, что онъ знаетъ гораздо болѣе, нежели можно было ей предполагать, и нѣкоторыя изъ его шутокъ были такъ удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала нѣсколько разъ, что ея тайна была ему извѣстна.

— Отъ кого вы все это знаете? спросила она, смѣясь.

«Отъ пріятеля извѣстной вамъ особы, отвѣчалъ Томскій: человѣка очень замѣчательнаго!

— Кто жъ этотъ замѣчательный человѣкъ?

«Его зовутъ Германномъ.

Лизавета Ивановна не отвѣчала ничего, но ея руки и ноги померзли . . .

— Этотъ Германнъ, продолжалъ Томскій, лице истинно романическое: у него профиль Наполеона,

а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совѣсти по крайней мѣрѣ три злодѣйства. Какъ вы поблѣднѣли! . . . .

«У меня голова болитъ . . . . Что же говорилъ вамъ Германнъ — или какъ бишь его? . . .

— Германнъ очень недоволенъ своимъ пріятелемъ: онъ говоритъ, что на его мѣстѣ онъ поступилъ бы совсѣмъ иначе . . . . Я даже полагаю, что Германнъ самъ имѣеть на васъ виды, по крайней мѣрѣ онъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленныя восклицанія своего пріятеля.

— Да гдѣ жъ онъ меня видѣлъ?

«Въ церкви, можетъ-быть, — на гуляньѣ! . . . Богъ его знаетъ! можетъ-быть въ вашей комнатѣ, во время вашего сна: отъ него станеть . . . .

Подошедшія къ нимъ три дамы съ вопросами — *oubli ou regret?* — прервали разговоръ, который становился мучительно любопытенъ для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна \* \* \*. Она успѣла съ нимъ изъясниться, обѣжавъ лишній кругъ и лишній разъ повертѣвшись передъ своимъ стуломъ. Томскій, возвратясь на свое мѣсто, уже не думалъ ни о Германнѣ, ни о Лизаветѣ Ивановнѣ. Она непременно хотѣла возобновить прерванный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскорѣ послѣ старая графиня уѣхала.

Слова Томскаго были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились въ душу молодой мечтательницы. Портретъ, набросанный Томскимъ, сходствовалъ съ изображеніемъ, составленнымъ ею самою, и, благодаря новѣйшимъ романамъ, это, уже пошрое лице, пугало и плѣняло ея воображеніе. Она сидѣла, сложа крестомъ голыя руки, наклонивъ на открытую грудь голову, еще убранныя цвѣтами . . . . Вдругъ дверь отворилась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала . . . .

— Гдѣ же вы были? спросила она испуганнымъ шепотомъ.

«Въ спальнѣ у старой графини, отвѣчалъ Германнъ: я сейчасъ отъ нее. Графиня умерла.

— Боже мой! . . . . что вы говорите? . . . .

«И кажется, продолжалъ Германнъ, я причиною ея смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго раздались въ ея душѣ: *у этого человека по крайней мѣрѣ три злодѣйства на душѣ!* Германнъ сѣлъ на окошко подлѣ нея, и все рассказалъ.

Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ эти страстные письма, эти пламенные требованія, это дерзкое, упорное преслѣдованіе, все это было не любовь! Деньги — вотъ чего алкала его душа! Не она могла утолить его желанія и осчастливить его! Бѣдная воспитанница была

не что иное, какъ слѣпая помощница разбойника, убійцы старой ея благодѣтельницы!... Горько заплакала она, въ позднемъ, мучительномъ своемъ раскаяніи. Германнъ смотрѣлъ на нее, молча: сердце его также терзалось, но ни слезы блѣдной дѣвушки, ни удивительная прелесть ея горести, не тревожили суровой души его. Онъ не чувствовалъ угрызения совѣсти при мысли о мертвой старухѣ. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, отъ которой ожидалъ обогащенія.

— Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ивановна.

«Я не хотѣлъ ея смерти, отвѣчалъ Германнъ: пистолетъ мой не заряженъ.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свѣчу: блѣдный свѣтъ озарилъ ея комнату. Она отерла заплаканные глаза, и подняла ихъ на Германна: онъ сидѣлъ на окошкѣ, сложивъ руки и грозно нахмурясь. Въ этомъ положеніи удивительно напоминалъ онъ портретъ Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Какъ вамъ отъ меня выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала провести васъ по потаенной лѣстницѣ, но надобно итти мимо спальни, а я боюсь.

«Расскажите мнѣ, какъ найти эту потаенную лѣстницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключъ, вручила его Германну и дала ему подробное наставленіе. Германнъ пожалъ ея холодную, безотвѣтную руку, поцаловалъ ея наклоненную голову, и вышелъ.

Онъ спустился внизъ по витой лѣстницѣ, и вошелъ опять въ спальню графини. Мертвая старуха сидѣла, окаменѣвъ; лице ея выражало глубокое спокойствіе. Германнъ остановился передъ нею, долго смотрѣлъ на нее, какъ бы желая удостовѣриться въ ужасной истинѣ; наконецъ вошелъ въ кабинетъ, оцупалъ за обоями дверь, и сталъ сходить по темной лѣстницѣ, волнуемый странными чувствованіями. По этой самой лѣстницѣ, думалъ онъ, можетъ-быть, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, въ эту самую спальню, въ такой же часъ, въ шитомъ кафтанѣ, причесанный à l'oiseau royal, прижимая къ сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливецъ, давно уже истлѣвшій въ могилѣ, а сердце престарѣлой его любовницы сегодня перестало биться....

Подъ лѣстницею Германнъ нашелъ дверь, которую отперъ тѣмъ же ключемъ, и очутился въ сквозномъ коридорѣ, выведшемъ его на улицу.



## V.

Въ эту ночь явилась ко мнѣ покойница баронесса фонъ - В \*\*\*. Она была вся въ бѣломъ, и сказала мнѣ. «Здравствуйте, господишь совѣтникъ!»

*Шведсборгъ.*

Три дня послѣ роковой ночи, въ девять часовъ утра, Германнъ отправился въ \*\*\* монастырь, гдѣ должны были отпѣвать тѣло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія, онъ не могъ однако совершенно заглушить голосъ совѣсти, твердившей ему: ты убійца старухи! Имѣя мало истинной вѣры, онъ имѣлъ множество предрассудковъ. Онъ вѣрилъ, что мертвая графиня могла имѣть вредное вліяніе на его жизнь, и рѣшился явиться на ея похороны, чтобы испросить у ней вѣщанія.

Церковь была полна. Германнъ насилу могъ пробраться сквозь толпу народа. Гробъ стоялъ на богатомъ катафалкѣ подъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ, съ руками сложенными на груди, въ кружевномъ чепцѣ и въ

бѣломъ атласномъ платьѣ. Кругомъ стояли ея домашніе: слуги въ черныхъ кафтанахъ съ гербовыми лентами на плечѣ, и со свѣчами въ рукахъ; родственники въ глубокомъ траурѣ — дѣти, внуки и правнуки. Никто не плакалъ; слезы были бы — une affectation. Графиня такъ была стара, что смерть ея никого не могла поразить, и что ея родственники давно смотрѣли на нее, какъ на отжившую. Славный проповѣдникъ произнесъ надгробное слово. Въ простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представилъ онъ мирное успеніе праведницы, которой долгіе годы были тихимъ, умиленнымъ приготовленіемъ къ Христіанской кончинѣ. «Ангель смерти обрѣлъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствующую въ помышленіяхъ благихъ и въ ожиданіи жениха полунощнаго.» Служба совершилась съ печальнымъ приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ тѣломъ. Потомъ двинулись и многочисленные гости, пріѣхавшіе поклониться той, которая такъ давно была участницею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. Послѣ нихъ и всѣ домашніе. Наконецъ приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Двѣ молодыя дѣвушки вели ее подѣ руки. Она не въ силахъ была поклониться до земли — и одна пролила нѣсколько слезъ, поцаловавъ холодную руку госпожи своей. Послѣ нея Германнъ рѣшился подойти

ко гробу. Онъ поклонился въ землю, и нѣсколько минутъ лежалъ на холодномъ полу, усыпанномъ ельникомъ. Наконецъ приподнялся, блѣдень какъ сама покойница, взошелъ на ступени катафалка и наклонился . . . . Въ эту минуту показалось ему, что мертвая насмѣшливо взглянула на него, прищуривая однимъ глазомъ. Германнъ, поспѣшно подавшись назадъ, отступился, и навзничъ грянулся обземъ. Его подняли. Въ то же самое время Лизавету Ивановну вынесли въ обморокъ на паперть. Этотъ эпизодъ возмутилъ на нѣсколько минутъ торжественность мрачнаго обряда. Между посѣтителями поднялся глухой ропотъ, а худощавый камергеръ, близкій родственникъ покойницы, шепнулъ на ухо стоящему подлѣ него Англичанину, что молодой офицеръ ея побочный сынъ, на что Англичанинъ отвѣчалъ холодно: Oh!

Цѣлый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроень. Обѣдая въ уединенномъ трактирѣ, онъ, противъ обыкновенія своего, пилъ очень много, въ надеждѣ заглушить внутреннее волненіе. Но вино еще болѣе горячило его воображеніе. Возвратясь домой, онъ бросился, не раздѣваясь, на кровать, и крѣпко заснулъ.

Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Онъ взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ у него прошелъ; онъ сѣлъ на

кровать, и думалъ о похоронахъ старой графини.

Въ это время, кто-то съ улицы взглянулъ къ нему въ окошко — и тотчасъ отошелъ. Германнъ не обратилъ на то никакого вниманія. Черезъ мину-ту услышалъ онъ, что отпирали дверь въ передней комнатѣ. Германнъ думалъ, что денщикъ его, пьяный по своему обыкновенію, возвращался съ ночной прогулки. Но онъ услышалъ незнакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь открылась, вошла женщина въ бѣломъ платьѣ. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу, и удивился, что могло привести ее въ темную пору. Но бѣлая женщина, скользя, очутилась вдругъ передъ нимъ — и Германнъ узналъ графиню!

— Я пришла къ тебѣ противъ своей воли, сказала она твердымъ голосомъ: но мнѣ велѣно исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и тузъ выиграютъ тебѣ сряду — но съ тѣмъ, чтобы ты въ сутки болѣе одной карты не ставилъ, и чтобы во всю жизнь уже послѣ не игралъ. Прощаю тебѣ мою смерть, съ тѣмъ, чтобы ты женился на моей воспитанницѣ Лизаветѣ Ивановнѣ...

Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла къ дверямъ, и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлопнула дверь въ сѣняхъ,

и увидѣлъ, что кто-то опять поглядѣлъ къ нему въ окошко.

Германнъ долго не могъ опомниться. Онъ вышелъ въ другую комнату. Денщикъ его спалъ на полу; Германнъ насилу его добудился. Денщикъ былъ пьянъ по обыкновенію: отъ него нельзя было добиться никакого толку. Дверь въ сѣни была заперта. Германнъ возвратился въ свою комнату, засвѣтилъ свѣчку, и записалъ свое видѣніе.



## VI.

*— Améide!*

— Какъ вамъ сѣбя ижъ сказать *амэиде*?

— Ваше Превосходительство, я скавала *амэиде - сь!*

Двѣ неподвижныя идеи не могутъ виѣсть существовать въ нравственной природѣ, такъ же, какъ два тѣла не могутъ въ физическомъ мѣрѣ занимать одно и то же мѣсто. Тройка, семерка, тузь — скоро заслонили въ воображеніи Германна образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузь — не выходили изъ его головы и шевелились на его губахъ. Увидѣвъ молодую дѣвушку, онъ говорилъ: — какъ она стройна! . . . настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который часъ: онъ отвѣчалъ: — безъ пяти минутъ семерка. — Всякой пузастый мужчина напоминалъ ему туза. Тройка, семерка, тузь — преслѣдовали его во снѣ, принимая всѣ возможные виды; тройка цвѣла передъ нимъ въ образѣ пышнаго грандифлора, семерка представлялася готическими воротами, тузь огром-

нымъ паукомъ. Всѣ мысли его слились въ одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ думать объ отставкѣ и о путешествіи. Онъ хотѣлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудить кладъ у очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.

Въ Москвѣ составилось общество богатыхъ игроковъ, подъ предсѣдательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь вѣкъ за картами и нажившаго нѣкогда милліоны, выигрывая векселя и проигрывая чистыя деньги. Долговременная опытность заслужила ему довѣренность товарищей, а открытый домъ, славный поваръ, ласковость и веселость приобрѣли уваженіе публики. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Молодежь къ нему нахлынула, забывая балы для картъ и предпочитая соблазны фараона обольщеніямъ волокитства. Нарумовъ привезъ къ нему Германна.

Они прошли рядъ великолѣпныхъ комнатъ, наполненныхъ учтивыми официантами. Всѣ были полны народу. Нѣсколько генераловъ и тайныхъ совѣтниковъ играли въ вистъ; молодые люди сидѣли, разваливъ на ветофныхъ диванахъ, ѣли мороженое и курили трубки. Въ гостиной, за длинными столами, около котораго тѣснилось человекъ двадцать игроковъ, сидѣлъ козынь и металъ банкъ. Онъ былъ человекъ лѣтъ шестидесяти, са-

мой почтенной наружности; голова покрыта серебряной сѣдиною; полное и свѣжее лицо изображало добродушіе; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представилъ ему Германна. Чекалинскій дружески пожалъ ему руку, просилъ не церемониться, и продолжалъ метать.

Талья длилась долго. На столѣ стояло болѣе тридцати картъ. Чекалинскій останавливался послѣ каждой прокидки, чтобы дать играющимъ время распорядиться, записывалъ проигрышъ, учтиво вслушивался въ ихъ требованія, еще учтивѣе отгибалъ лишній уголь, загибаемый разсѣянною рукою. Наконецъ талья кончилась. Чекалинскій стасовалъ карты, и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, сказалъ Германнъ протягивая руку изъ-за толстаго господина, тутъ же понтировававаго. Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ покорнаго согласія. Нарумовъ, смѣясь, поздравилъ Германна съ разрѣшеніемъ долговременнаго поста, и пожелалъ ему счастливаго начала.

— Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣломъ кушъ надъ своею картою.

«Сколько-съ?» спросилъ, прищуриваясь, банкومترъ: извините-съ, я не разгляжу.

— Сорокъ семь тысячъ, отвѣчалъ Германнъ.

При этихъ словахъ, всѣ головы обратились мгновенно, и всѣ глаза устремились на Германна.— Онъ съ ума сошелъ! подумалъ Нарумовъ.

«Позвольте замѣтить вамъ, сказалъ Чекалинскій съ неизмѣнной своею улыбкою, что игра ваша сильна: никто болѣе двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здѣсь еще не ставилъ.

— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту, или нѣтъ?

Чекалинскій поклонился съ видомъ того же смиреннаго согласія.

«Я хотѣлъ только вамъ доложить, сказалъ онъ, что, будучи удостоенъ довѣренности товарищей, я не могу метать иначе, какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны, я конечно увѣренъ, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетовъ, прошу васъ поставить деньги на карту.

Германнъ вынулъ изъ кармана банковый билетъ, и подалъ его Чекалинскому, который, бѣгло посмотрѣвъ его, положилъ на Германнову карту.

Онъ сталъ метать. На-право легла девятка, на-лѣво тройка.

— Выиграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шопоть. Чекалинскій нахмурился, но улыбка тотчасъ возвратилась на его лице.

«Изволите получить? спросил онъ Германныя.

— Сдѣлайте одолженіе.

Чекалинскій вынулъ изъ кармана нѣсколько банковыхъ билетовъ, и тотчасъ расшелся. Германныя принялъ свои деньги и отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могъ опомниться. Германныя выпилъ стаканъ лимонаду и отправился домой.

На другой день вечеромъ, онъ опять явился у Чекалинскаго. Хозяинъ металъ, Германныя подошелъ къ столу; понтеры тотчасъ дали ему мѣсто. Чекалинскій ласково ему поклонился.

Германныя дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ на нее свои 47,000 и вчерашній выигрышъ.

Чекалинскій сталъ метать. Валетъ вышелъ направо, семерка на-лѣво.

Германныя открылъ семерку.

Всѣ ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчиталъ 94,000, и передалъ Германну. Германныя принялъ ихъ съ хладнокровіемъ, и въ ту же минуту удалился.

Въ слѣдующій вечеръ Германныя явился опять у стола. Всѣ его ожидали, генералы и тайные совѣтники оставили свой вистъ, чтобъ видѣть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили съ дивановъ; всѣ официанты собрались въ гостиной. Всѣ обступили Германныя. Прочіе игроки

не поставили своихъ картъ, съ нетерпѣніемъ ожидая, чѣмъ онъ кончитъ. Германнъ стоялъ у стола, готовясь одинъ понтировать противу блѣднаго, но все улыбающагося, Чекалинскаго. Каждый распечаталъ колоду картъ. Чекалинскій стасовалъ. Германнъ снялъ, и поставилъ свою карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поединокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.

Чекалинскій сталъ метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налѣво тузъ.

— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ, и открылъ свою карту.

— Дама ваша убита, сказалъ ласково Чекалинскій.

Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто туза у него стояла пиковая дама. Онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.

Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмѣхнулась. Необыкновенное сходство поразило его.....

— Старуха! закричалъ онъ въ ужасѣ.

Чекалинскій потянулъ къ себѣ проигранные билеты. Германнъ стоялъ неподвижно. Когда отошелъ онъ отъ стола, поднялся шумный говоръ. — Славно спонтировалъ! говорили игроки. — Чекалинскій снова стасовалъ карты: игра пошла своимъ чередомъ.

## З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ въ Обуховской больницѣ въ 17 номерѣ, не отвѣчаетъ ни на какіе вопросы, и бормочетъ необыкновенно скоро: — Тройка, семерка, тузь! Тройка, семерка, дама!.....

Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодаго человѣка; онъ гдѣ-то служить и имѣетъ порядочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя у старой графини. У Лизаветы воспитывается бѣдная родственница.

Томскій произведенъ въ ротмистры и женился на княжнѣ Полинь.





# **КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.**



# КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

Береги честь съ-молоду.

*Пословица.*



## ГЛАВА I.

### СЕРЖАНТЪ ГВАРДИИ.



Быль бы гвардія оня ветра жь хлытань.

— Того не мадобно: пусть въ арміи послужить.

Ирядно сказано! Пустьай его потужить....

.....

Да кто еще отецъ?

*Бывало.*

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ, въ молодости своей служилъ при графѣ Минихѣ, и вышелъ въ отставку премьеръ-майоромъ въ 17.. году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей Симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотѣ Васильевнѣ Ю., дочери бѣднаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человекъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли во младенчествѣ. Я былъ

записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ, по милости маіора гвардіи князя Б., близкаго нашего родственника. Я считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время воспитывались мы не по нынѣшнему. Съ пятилѣтняго возраста отданъ я былъ на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведеніе пожалованному мнѣ въ дядьки. Подъ его надзоромъ, на двѣнадцатомъ году выучился я Русской грамотѣ и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзаго кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня Француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Прїѣздъ его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу» — ворчалъ онъ про себя — «кажется, дитя умыть, причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно тратить лишніи деньги и нанимать мосье, какъ будто и своихъ людей не стало!»

Бопре въ отечествѣ своемъ былъ парикмахеромъ, потомъ въ Пруссіи солдатомъ, потомъ прїѣхалъ въ Россію pour être outchitel, не очень понимая значеніе этого слова. Онъ былъ добрый малой, но вѣтренъ и безпутенъ до крайности. Главною его слабостію была страсть къ прекрасному полу; нерѣдко за свои нѣжности получалъ онъ толчки, отъ которыхъ охаль по цѣлымъ суткамъ. Къ тому же не былъ онъ (по его выраженію) и врагомъ

*бутылки*, т. е. (говоря по-Русски) любилъ хлебнуть лишнее. Но какъ вино подавалось у насъ только за обѣдомъ, и то по рюмочкѣ, причеиъ учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ Русской настойкѣ, и даже сталъ предпочитать ее винаиъ своего отечества, какъ не-*вириимѣрь* болѣе полезную для желудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня *по-французски, по-нѣмецки и вслѣ наукииъ*, но онъ предпочелъ наскоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать по-Русски — и потомъ каждый изъ насъ занимался уже своимъ дѣломъ. Мы жили душа въ душу. Другаго ментора я и не желалъ. Но вскорѣ судьба насъ разлучила, и вотъ по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька, какъ-то согласились въ одно время кинуться матушкѣ въ ноги, винясь въ преступной слабости и съ плачемъ жадуясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность. Матушка шутить этимъ не любила, и пожаловалась батюшкѣ. У него расправа была коротка. Онъ тотчасъ потребовалъ каналью Француза. Доложили, что мусье давалъ мнѣ свой урокъ. Батюшка пошелъ въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати спиомъ невинности. Я былъ занятъ дѣломъ. Надобно знать, что для меня выписана была изъ Москвы

географическая карта. Она висѣла на стѣнѣ безъ всякаго употребленія и давно соблазнила меня шириною и добротою бумаги. Я рѣшился сдѣлать изъ нее змѣй, и пользуясь сномъ Бопре, принялся за работу. Батюшка вошелъ въ то самое время, какъ я прилаживалъ мочальный хвостъ къ Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюшка дернулъ меня за ухо, потомъ подбѣжалъ къ Бопре, разбудилъ его очень неосторожно, и сталъ осыпая укоризнами. Бопре въ смятенія хотѣлъ-было встать и не могъ: несчастный Французъ былъ мертво пьянъ. Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ. Батюшка за воротъ принодняя его съ кровати, вытолкалъ изъ дверей, и въ тотъ же день прогналъ со двора, къ неописанной радости Савельича. Тѣмъ и кончилось мое воспитаніе.

Я жилъ недорослемъ, гоня голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками. Между тѣмъ минуло мнѣ шестнадцать лѣтъ. Тутъ судьба моя перемѣнилась.

Однажды осенью матушка варила въ гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрѣлъ на кипучія пѣнки. Батюшка у окна читалъ Придворный Календарь, ежегодно имъ получаемый. Эта книга имѣла всегда сильное на него вліяніе: никогда не перечитывалъ онъ ея безъ особеннаго участія,

и чтеніе это производило въ немъ всегда удивительное волненіе желчи. Матушка, знаяшая наизусть всё его свѣданіе и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу какъ можно подалѣе, и такимъ образомъ Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. За то, когда онъ случайно его находилъ, то, бывало, по цѣлымъ часамъ не выпускалъ ужъ изъ своихъ рукъ. И такъ батюшка читалъ Придворный Календарь, изрѣдка пожимая плечами и повторяя въ полголоса: «Генераль-поручикъ!.. Онъ у меня въ ротѣ былъ сержантомъ!... Обонхъ Россійскихъ орденовъ кавалеръ!... А давно ли мы?»... Наконецъ батюшка швырнулъ Календарь на диванъ, и погрузился въ задумчивость, не предвѣщавшую ничего добраго.

Вдругъ онъ обратился къ матушкѣ: «Авдотья Васильевна, а сколько лѣтъ Петрушѣ?»

— Да вотъ пошелъ Семнадцатый годокъ — отвѣчала матушка. Петруша родился въ тотъ самый годъ, какъ окривѣла тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще....

«Добро» — прервалъ батюшка — «пора его въ службу. Полно ему бѣгать по дѣвичьимъ, да лазить на голубитни.»

Мысль о скорой разлукѣ со мною такъ поразила матушку, что она уронила ложку въ кострюльку,

и слезы потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищеніе. Мысль о службѣ сливалась во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ Петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что, по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго.

Батюшка не любилъ ни перемѣнять своихъ намѣреній, ни откладывать ихъ исполненія. День отъѣзду моему былъ назначенъ. Наканунѣ батюшка объявилъ, что намѣренъ писать со мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петровичъ» — сказала матушка — «поклониться и отъ меня князю Б.; я де-скать надѣюсь, что онъ не оставитъ Петрушу своими милостями.»

— Что за вздоръ! — отвѣчалъ батюшка нахмурился. Къ какой стати стану я писать къ князю Б.?

«Да вѣдь ты сказалъ, что изволишь писать къ начальнику Петруши.»

— Ну, а тамъ что?

«Да вѣдь начальникъ Петрушинъ — князь Б. Вѣдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.»

— Записанъ! А мнѣ какое дѣло, что онъ записанъ? Петруша въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служба въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ

арміи, да потянетъ ляжку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не шаматонъ въ гвардіи! Гдѣ его паспортъ? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея шкатулкѣ вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкѣ дрожащею рукою. Батюшка прочелъ его со вниманіемъ, положилъ передъ собою на столъ, и началъ свое письмо.

Любопытство меня мучило. Кудажъ отправляютъ меня, если ужъ не въ Петербургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконецъ онъ кончилъ, запечаталъ письмо въ одномъ пакетѣ съ паспортомъ, снялъ очки, и подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ тебѣ письмо къ Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты ѣдешь въ Оренбургъ служить подъ его начальствомъ.»

И такъ, всѣ мои блестящія надежды рушились! Вмѣсто веселой Петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонѣ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была къ крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ

съ чайнымъ приборомъ и узлы съ булками и пирогами, послѣдними знаками домашняго баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказалъ мнѣ: «Прощай, Петръ. Служи вѣрно, кому присягнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье съ-нову, а честь съ-молоду.» Матушка въ слезахъ наказывала мнѣ беречь мое здоровье, а Савельичу смотрѣть за дитятей. Надѣли на меня заячій тулупъ, а сверху лисью шубу. Я сѣлъ въ кибитку съ Савельичемъ, и отправился въ дорогу, обливаясь слезами.

Въ ту же ночь пріѣхалъ я въ Симбирскъ, гдѣ долженъ былъ пробыть сутки для закупки нужныхъ вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился въ трактирѣ. Савельичъ съ утра отправился по лавкамъ. Соскуча глядѣть изъ окна на грязный переулокъ, я пошелъ бродить по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ билліардную, увидѣлъ я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными усами, въ халатѣ, съ кіемъ въ рукѣ и съ трубкой въ зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, который при выигрышѣ выпивалъ рюмку водки, а при проигрышѣ долженъ былъ лѣзть подѣ билліардъ на четверенькахъ. Я сталъ смотрѣть на ихъ игру. Чѣмъ долѣе она продолжалась, тѣмъ прогулки на четверенькахъ

становились чаще, пока наконец маркеръ остался подъ биллиардомъ. Баринъ произнесъ надъ нимъ нѣсколько сильныхъ выраженій въ видѣ надгробнаго слова, и предложилъ мнѣ сыграть партію. Я отказался по неумѣнью. Это показалось ему, повидимому, страннымъ. Онъ поглядѣлъ на меня какъ бы съ сожалѣніемъ; однако мы разговорились. Я узналъ, что его зовутъ Иваномъ Ивановичемъ Зуринымъ, что онъ ротмистръ \*\* гусарскаго полка и находится въ Симбирскѣ при приѣмѣ рекрутъ, а стоитъ въ трактирѣ. Зуринъ пригласилъ меня отобѣдать съ нимъ вмѣстѣ, чѣмъ Богъ послалъ, по-солдатски. Я съ охотою согласился. Мы сѣли за столъ. Зуринъ пилъ много и подчивалъ и меня, говоря, что надобно привыкать къ службѣ; онъ рассказывалъ мнѣ армейскіе анекдоты, отъ которыхъ я со-смѣху чуть не валялся, и мы встали изъ-за стола совершенными пріятелями. Тутъ вызвался онъ выучить меня играть на биллиардѣ. «Это» — говорилъ онъ — «необходимо для нашего брата служиваго. Въ походѣ, напримѣръ, придешь въ мѣстечко; чѣмъ прикажешь заняться? Вѣдь не все же бить Жидовъ. По неволѣ пойдешь въ трактиръ и станешь играть на биллиардѣ; а для того надобно умѣть играть!» Я совершенно былъ убѣжденъ, и съ большимъ прилѣжаніемъ принялся за ученіе. Зуринъ громко ободрялъ меня, дивился моимъ быстрымъ успѣ-

хамъ, и послѣ нѣсколькихъ уроковъ предложилъ мнѣ играть въ-деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а такъ, чтобъ только не играть даромъ, что, по его словамъ, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зуринъ велѣлъ подать пуншу и уговорилъ меня попробовать, повторяя, что къ службѣ надобно мнѣ привыкать; а безъ пуншу что и служба! Я послушалъ его. Между тѣмъ игра наша продолжалась. Чѣмъ чаще прихлебывалъ я изъ моего стакана, тѣмъ становился отважнѣе. Шары поминутно летали у меня черезъ бортъ; я горячился, бранилъ маркера, который считалъ. Богъ вѣдаетъ какъ, часъ отъ часу умножалъ игру, словомъ — велъ себя какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Между тѣмъ время прошло незамѣтно. Зуринъ взглянулъ на часы, положилъ кій, и объявилъ мнѣ, что я проигралъ сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я сталъ извиняться. Зуринъ меня прервалъ: «Пошлиуй! Не изволь и безпокоиться. Я могу и подождать, а покамѣстъ поѣдемъ къ Аринушкѣ.»

Что прикажете? День я кончилъ также безпутно, какъ и началъ. Мы отужинали у Аринушки. Зуринъ поминутно мнѣ подливалъ, повторяя, что надобно къ службѣ привыкать. Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на по-

гахъ; въ полночь Зуринъ отвезъ меня въ трактиръ.

Савельичъ встрѣтилъ насъ на крыльцѣ. Онъ ахнулъ, увидя несомнѣнные признаки моего усердія къ службѣ. «Что это, сударь, съ тобою сдѣлалось?» — сказалъ онъ жалкимъ голосомъ. «Гдѣ ты это нагрузился? Ахти, Господи! отроду такого грѣха не бывало!» — Молчи, хрычь! — отвѣчалъ я ему, запинаясь; ты вѣрно пьянъ, пошелъ спать . . . . . и уложи меня.

На другой день я проснулся съ головою болью, смутно припоминая себѣ вчерашнія происшествія. Размышленія мои прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мнѣ съ чашкой чаю. «Рано, Петръ Андреичъ» — сказалъ онъ мнѣ, качая головою — «рано начинаешь гулять. И въ кого ты пошелъ? Кажется, ни батюшка, ни дѣдушка пьяницами не бывали; о матушкѣ и говорить нечего: отроду, кромѣ квасу, въ ротъ ничего не изволила брать. А кто всему виновать? Проклятый мусье. То и дѣло, бывало, къ Антипьевнѣ забѣжить: «Мадамъ, же ву при, водкю». Вотъ тебѣ и же ву при! Нечего сказать: добру наставилъ, собачій сынъ. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана, какъ будто у барина не стало и своихъ людей!»

Мнѣ было стыдно. Я отвернулся и сказалъ ему: Поди вонъ, Савельичъ; я чаю не хочу. Но Са-

вельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповѣдь. «Вотъ видишь ли, Петръ Андреичъ, каково подгуливать. И головкѣ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человѣкъ пьющій ни начто негодень. . . . Вышей-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше опохмѣлиться полстаканчикомъ настойки. Не прикажешь ли?»

Въ это время вошелъ мальчикъ, и подалъ мнѣ записку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочелъ слѣдующія строки :

«Любезный Петръ Андреевичъ, пожалуйста пришли мнѣ съ моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнѣ вчера проигралъ. Мнѣ крайняя нужда въ деньгахъ.

Готовый ко услугамъ

*Иванъ Зуринъ.»*

Дѣлать было нечего. Я взялъ на себя видъ равнодушный, и обратясь къ Савельичу, который былъ и денегъ и бльля и дльь моихъ рагитель, приказалъ отдать мальчику сто рублей. «Какъ! за чѣмъ?» спросилъ изумленный Савельичъ. — Я ихъ ему долженъ — отвѣчалъ я со всевозможной холодностію. «Долженъ!» возразилъ Савельичъ, часъ-отъ-часу приходя въ большее изумленіе — «да когда же, сударь, успѣлъ ты ему задолжать?»

Дѣло что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денегъ я не выдамъ.»

Я подумалъ, что если въ сію рѣшительную минуту не переспорю упрямаго старика, то ужъ въ послѣдствіи времени трудно мнѣ будетъ освободиться отъ его опеки, и взглянувъ на него гордо, сказалъ: Я твой господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ проигралъ, потому что такъ мнѣ вздумалось. А тебѣ совѣтую не умничать, и дѣлать то, что тебѣ приказываютъ.

Савельичъ такъ былъ пораженъ моими словами, что всплеснулъ руками и остолбенѣлъ. Что же ты стоишь! — закричалъ я сердито. Савельичъ заплакалъ. «Батюшка Петръ Андреичъ» — произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ — «не умори меня съ печали. Свѣтъ ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутилъ, что у насъ и денегъ-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебѣ родители крѣпко-на-крѣпко заказали играть, окромя какъ въ орѣхи». . . . Полно врать — перервалъ я строго — подавай сюда деньги, или я тебя въ зашею прогоню.

Савельичъ поглядѣлъ на меня съ глубокой горестью и пошелъ за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что ужъ я не ребенокъ. Деньги

были доставлены Зурину. Савельичъ успѣшилъ вывезти меня изъ проклятаго трактира. Онъ явился съ извѣстіемъ, что лошади готовы. Съ беспокойной совѣстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ выѣхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидѣться.



## ГЛАВА II.

## ВОЖАТЫЙ.

—

Сторона ль моя, сторонника,  
Сторона незнакома!  
Что не самъ ли я на тебя напелъ,  
Что не добрый ли да желя конь завелъ:  
Завала желя, добраго молодца,  
Прыткость, бодрость молодецкая  
И хитрость лукава бабацкая.

*Старинная песня.*

Дорожные размышленія мои были не очень приятны. Проигрышь мой, по тогдашнимъ цѣнамъ, былъ немаловаженъ. Я не могъ не признаться въ душѣ, что поведеніе мое въ Симбирскомъ трактирѣ было глупо, и чувствовалъ себя виноватымъ передъ Савельичемъ. Все это меня мучило. Старикъ угрюмо сидѣлъ на облучкѣ, отворотясь отъ меня и молчалъ, изрѣдка только покрикивая. Я непремѣнно хотѣлъ съ нимъ помириться, и не зналъ съ чего начать. Наконецъ я сказалъ ему: «Ну, ну,

Савельичъ! полно, помиримся, виновать; вижу самъ, что виновать. Я вчера напроказилъ, а тебя напрасно обидѣлъ. Обѣщаюсь впередъ вести себя умнѣе и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся.»

— Эхъ, батюшка Петръ Андреичъ! — отвѣчалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь - то я на самага себя; самъ я кругомъ виновать. Какъ мнѣ было оставить тебя одного въ трактирѣ! Что дѣлать? Грѣхъ попуталь: вздумаль забрести къ дьячихѣ, повидаться съ кумою. Такъ то: зашелъ къ кумѣ, да засѣлъ въ тюрьмѣ. Бѣда да и только! Какъ покажусь я на глаза господамъ? Что скажутъ они, какъ узнаютъ, что дитя пьетъ и играетъ.

Чтобъ утѣшить бѣднаго Савельича, я далъ ему слово впередъ безъ его согласія не располагать ни одною копѣйкою. Онъ мало-по-малу успокоился, хотя все еще изрѣдка ворчалъ про себя, качая головою: «Сто рублей; легко ли дѣло!»

Я приближался къ мѣсту моего назначенія. Вокругъ меня простирались печальныя пустыни, переѣченныя холмами и оврагами. Все покрыто было снѣгомъ. Солнце садилось. Кибитка ѣхала по узкой дорогѣ, или точнѣе, по слѣду, проложенному крестьянскими санями. Вдругъ ямщикъ сталъ посматривать въ сторону, и наконецъ, снявъ шапку, оборотился ко мнѣ и сказалъ: «Баринъ, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачѣмъ?

«Время ненадежно: вѣтеръ слегка подымается; вишь, какъ онъ сметаетъ порошу.»

— Что за бѣда!

«А видишь тамъ что?» (Ямщикъ указалъ кнутомъ на востокъ.)

— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степи да яснаго неба.

«А вонъ — вонъ: это облачко.»

Я увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю неба бѣлое облачко, которое принялъ-было сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ изъяснилъ мнѣ, что облачко предвѣщало бурань.

Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ, и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ мнѣніемъ ямщика, совѣтовалъ воротиться. Но вѣтеръ показался мнѣ несильнъ; я понадѣялся добраться заблаговременно до слѣдующей станціи, и велѣлъ ѣхать скорѣе.

Ямщикъ поскакалъ; но все поглядывалъ на востокъ. Лошади бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ-отъ-часу становился сильнѣе. Облачко обратилось въ бѣлую тучу, которая тяжело подымалась, росла, и постепенно облежала небо. Пошелъ мелкій снѣгъ — и вдругъ повалилъ хлопьями. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась метель. Въ одно мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ.

Все исчезло. «Ну, баринъ» — закричалъ ямщикъ — «бѣда: бурань!»...

Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь. Вѣтеръ вылъ съ такой свирѣпой выразительностію, что казался одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня и Савельича; лошади шли шагомъ — и скоро стали. «Что же ты не ѣдешь?» спросилъ я ямщика съ нетерпѣніемъ. — Да что ѣхать? — отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка; — невѣсть и такъ куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ. — Я сталь-было его бранить. Савельичъ за него заступился: «И охота было не слушаться» — говорилъ онъ сердито — «воротился бы на постоянный дворъ, накупался бы чаю, почивалъ бы себѣ до утра, буря бѣ утихла, отправились бы далѣе. И куда спѣшимъ? Добро бы на свадьбу!» — Савельичъ былъ правъ. Дѣлать было нечего. Снѣгъ такъ и валилъ. Около кибитки подымался сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изрѣдка вздрагивая. Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего дѣлать улаживая упряжь. Савельичъ ворчалъ; я глядѣлъ во всѣ стороны, надѣясь увидѣть хоть признакъ жилья или дороги, но ничего не могъ различить, кромѣ мутнаго круженія метели. . . . Вдругъ увидѣлъ я что-то черное. «Эй, ямщикъ!» — закричалъ я — «смотри: что тамъ такое чернѣется?» Ямщикъ сталь всматриваться. — А Богъ знаетъ, баринъ —

сказаль онъ, садясь на свое мѣсто; возъ не возъ, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волкъ или человѣкъ.

Я приказаль ѣхать на незнакомый предметъ, который тотчасъ и сталъ подвигаться намъ на встрѣчу. Черезъ двѣ минуты мы поравнялись съ человѣкомъ. «Гей, добрый человѣкъ!» — закричалъ ему ямщикъ. «Скажи, не знаешь ли гдѣ дорога?»

— Дорога-то здѣсь; я стою на твердой полосѣ, отвѣчалъ дорожный, да что толку?

Послушай, мужичекъ — сказалъ я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

«Страна мнѣ знакомая» — отвѣчалъ дорожный — «слава Богу, искожена и избѣжена вдоль и поперекъ. Да вишь какая погода: какъ разъ собьешься съ дороги. Лучше здѣсь остановиться, да переждать, авось бурянь утихнетъ, да небо прояснится: тогда найдешь дорогу по звѣздамъ».

Его хладнокровіе ободрило меня. Я ужъ рѣшился, предавъ себя Божіей волѣ, ночевать посреди степи, какъ вдругъ дорожный сѣлъ проворно на облучекъ и сказалъ ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да поѣзжай». — А почему ѣхать мнѣ вправо? — спросилъ ямщикъ съ неудовольствіемъ. — Гдѣ ты видишь дорогу? Не бось: лошади чужія, хомуть

не свой, погоняй не стой. — Ямщикъ казался мнѣ правъ. «Въ самомъ дѣлѣ» — сказала я; — «почему думаешь ты, что жило недалече?» — А потому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ — отвѣчалъ дорожный, — и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко. — Смѣтливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велѣлъ ямщику ѣхать. Лошади тяжело ступали по глубокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то вѣзжая на сугробѣ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плаваніе судна по бурному морю. Савельичъ охаль, поминутно толкаясь о мой бока. Я опустил цыновку, закутался въ шубу и задремаль, убаюканный пѣніемъ бури и качкою тихой ѣзды.

Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я позабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто пророческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извинить меня: ибо вѣроятно знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку предаваться суевѣрію, не смотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.

Я находился въ томъ состояніи чувствъ и души, когда существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видѣніяхъ первосонія. Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣпствовалъ, и мы

еще блуждали по снѣжной пустынь... Вдруг увидѣлъ я ворота, и въѣхалъ на барскій дворъ нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасеніе, чтобъ батюшка не прогнѣвался на меня за невольное возвращеніе подъ кровлю родительскую, и не почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ. Съ безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки, и вижу: матушка встрѣчаетъ меня на крыльцѣ съ видомъ глубокаго огорченія. «Тихе,» — говоритъ она мнѣ — «отецъ боленъ при смерти и желаетъ съ тобою проститься.» — Пораженный страхомъ, я иду за нею въ спальню. Вижу, комната слабо освѣщена; у постели стоятъ люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка приподнимаетъ пологъ и говоритъ: «Андрей Петровичъ, Петруша пріѣхалъ; онъ воротился, узнавъ о твоей болѣзни; благослови его». Я сталъ на колѣна, и устремилъ глаза мои на больного. Что жъ?. Вмѣсто отца моего, вижу въ постели лежать мужикъ съ черной бородою, весело на меня поглядывая. Я въ недоумѣніи оборотился къ матушкѣ, говоря ей: Что это значить? Это не батюшка. И къ какой мнѣ стати просить благословенія у мужика? — «Все равно, Петруша,» — отвѣчала мнѣ матушка — «это твой посаженный отецъ; поцалуй у него ручку, и пусть онъ тебя благословить».... Я не соглашался. Тогда мужикъ

вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всѣ стороны. Я хотѣлъ бѣжать . . . и не могъ; комната наполнилася мертвыми тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ . . . Страшный мужикъ ласково меня кликалъ, говоря: «Не бойсь, подойди подь мое благословеніе» . . . Ужась и недоумѣніе овладѣли мною . . . И въ эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельичъ держалъ меня за руку; говоря: «Выходи, сударь: пріѣхали.»

— Куда пріѣхали? — спросилъ я, протирая глаза. — «На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо на заборъ. Выходи, сударь, скорѣе, да обогрѣйся.»

Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще продолжался, хотя съ меньшею силою. Было такъ темно, что хотъ глазъ выколи. Хозяинъ встрѣтилъ насъ у воротъ, держа фонарь подь полою, и ввелъ меня въ горницу, тѣсную, но довольно чистую; лучина освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяинъ, родомъ Яицкій казакъ, казался, мужикъ лѣтъ шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савельичъ внесъ за мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай, который никогда такъ не казался мнѣ нужень. Хозяинъ пошелъ хлопотать.

— Гдѣ же вожатый? — спросилъ я у Савельича.

«Здѣсь, ваше благородіе,» отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху. Я взглянулъ на полаты, и увидѣлъ черную бороду и два сверкающіе глаза. — Что, братъ; прозябъ? — «Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ! Былъ тулупъ, да что грѣха таить? заложилъ вечеръ у цаловальника: морозъ показался невеликъ.» Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужикъ слѣзъ съ полатей. Наружность его показалась мнѣ замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые большіе глаза такъ и бѣгали. Лице его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ оборванный армякъ и Татарскіи шаровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился: «Ваше благородіе, сдѣлайте мнѣ такую милость — прикажите поднести стаканъ вина; чай не наше казацкое питье.» Я съ охотой исполнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ ставца штофъ и стаканъ, подошелъ къ нему, и взглянувъ ему въ лице: «Эхе» — сказалъ онъ — «опять ты въ нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?» — Вожатый мой мигнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою: «Въ огородѣ леталь, ко-

нопли клеваль; швырнула бабушка камушкомъ — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвѣчалъ хозяинъ, продолжая иносказательный разговоръ. — Стали-было къ вечернѣ звонить, да попададя не велить: попь въ гостяхъ, черти на погостѣ. — «Молчи, дядя,» — возразилъ мой бродяга — будетъ дождикъ, будутъ и грибки; а будутъ грибки, будетъ и кѣзовъ: а теперь (туть онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину: лѣсничій ходитъ. Ваше благородіе! за ваше здоровье!» — При сихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился и выпилъ однимъ духомъ. Потомъ поклонился мнѣ, и воротился на полати.

Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго разговора; но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ Яицкаго войска, въ то время только что усмиренаго послѣ бунта 1772 года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большаго неудовольствія. Онъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или, по-тамашнему, *уметь*, находился въ сторонѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень подходилъ на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего. Нельзя было и подумать о продолженіи пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ я расположился ночевать

и легъ на лавку. Савельичъ рѣшился убраться на печь; хозяинъ легъ на полу. Скоро вся изба захрапѣла, и я заснулъ какъ убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидѣлъ, что буря утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣренную плату, что даже Савельичъ съ нимъ не спорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь, и велѣлъ Савельичу дать ему полтину на-водку. Савельичъ нахмурился. «Полтину на-водку!» — сказалъ онъ, — «за что это? За то, что ты же изволилъ подвести его къ постоялому двору? Воля твоя, сударь: вѣтъ у насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на-водку, такъ самому скоро придется голодать.» Я не могъ спорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему обѣщанію, находились въ полномъ его распоряженіи. Мнѣ было досадно однако жъ, что не могъ отблагодарить человѣка, выручившаго меня, если не изъ бѣды, то по крайней мѣрѣ изъ очень неприятнаго положенія. Хорошо, сказалъ я хладнокровно, если не хочешь дать полтину, то вынь ему что нибудь изъ моего платья. Онъ

одѣтъ слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.

«Помилуй, батюшка Петръ Андреичъ!» — сказалъ Савельичъ, «Зачѣмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропьеть, собака, въ первомъ кабацкѣ.»

— Это, старинушка, ужь не твоя печаль — сказалъ мой бродяга, «пропью ли я или нѣтъ. Его благородіе мнѣ жалуется шубу съ своего плеча : его на то барская воля, а твое холопье дѣло не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойникъ!» — отвѣчалъ ему Савельичъ сердитымъ голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще не смыслить, а ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зачѣмъ тебѣ барскій тулупчикъ? Ты и не напялишь его на свои окаянныя плечища.»

— Прошу не умничать — сказалъ я своему дядькѣ; сейчасъ неси сюда тулупъ.

«Господи владыка!» простоналъ мой Савельичъ. — «Заячій тулупъ почти новешенькій! И добро кому, а то пьяницѣ оголѣлому!»

Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталъ его примѣривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъ котораго успѣлъ и я вырасти, былъ немножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился, и надѣлъ его, распоровъ по швамъ. Савельичъ

чуть не завылъ, услышавъ, какъ шетки затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно доволенъ моимъ подаркомъ. Онъ проводилъ меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ поклономъ: «Спасибо, ваше благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель. Въкъ не забуду вашихъ милостей». — Онъ пошелъ въ свою сторону, а я отправился далѣе, не обращая вниманія на досаду Савельича, и скоро позабылъ о вчерашней вьюгѣ, о своемъ жолатомъ и о зачьемъ тулупѣ.

Пріѣхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я увидѣлъ мушину роста высокаго, но уже сторбленнаго старостію. Длинные волосы его были совсѣмъ бѣлы. Старый полинялый мундиръ напоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, а въ его рѣчи сильно отзывался Нѣмецкій выговоръ. Я подалъ ему письмо отъ батюшки. При имени его, онъ взглянулъ на меня быстро: «Поже мой!» сказалъ, онъ. «Тафно-ли, кажется, Андрей Петровичъ былъ еще твоихъ лѣтъ; а теперь вотъ ушь какой у него молотець! Ахъ, фремя, фремя!» — Онъ распечаталъ письмо и сталъ читать его вполголоса, дѣлая свои замѣчанія: «Милостивый государь Иванъ Карловичъ, надѣюсь, что ваше превосходительство» . . . . . Это что за серемоніи? Фуи, какъ ему не софѣсно! Конечно: дисциплина перво дѣло, но такъ ли пинуть къ

старому камратъ?... «ваше превосходительство не забыло»..... гм.... «и.... когда... покойнымъ Фельдмаршаломъ Мин..... походъ... также и.. Каролинку».... Эхе, брудеръ! такъ онъ еще помнить старыя шаши проказъ? «Теперь о дѣлѣ... Къ вамъ моего повѣсу».... гм....» держать въ ежевыхъ рукавицахъ».... Что такое ешевы рукавицы? Это должно быть Русска поговоркъ... Что такое держать въ ешевыхъ рукавицахъ? — повторилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

— Это значить — отвѣчалъ я ему съ видомъ какъ можно болѣе невиннымъ — обходиться ласково, не слишкомъ строго, давать побольше воли, держать въ ежевыхъ рукавицахъ.

«Гм, понимаю... и не давать ему воли».... нѣтъ, видно ешевы рукавицы значить не то.... «При семь.... его паспортъ».. Гдѣ жъ онъ? А, вотъ.... «Отписать въ Семеповскій».... Хорошо, хорошо: все будетъ сдѣлано.... «Позволишь безъ чиновъ обнять себя и.... старымъ товарищемъ и другомъ» — а! наконецъ догадался.... и прочая и прочая... Ну, батюшка» — сказала онъ, прочитавъ письмо и отложивъ въ сторону мой паспортъ — «все будетъ сдѣлано: ты будешь офицеромъ переведенъ въ \*\*\* полкъ, и чтобъ тебѣ времени не терять, то завтра же поѣзжай въ Бѣлогорскую крѣпость, гдѣ ты будешь въ командѣ

капитана Миронова, добраго и честнаго человѣка. Тамъ ты будешь на службѣ настоящей, научишься дисциплинѣ. Въ Оренбургѣ дѣлать тебѣ нечего; разсѣянiе вредно молодому человѣку. А сегодня милости просимъ отобѣдать у меня.»

Чась-отъ-часу не легче! подумалъ я про себя: къ чему послужило мнѣ то, что почти въ утробѣ матери я былъ уже гвардiи сержантомъ! Куда это меня завело? Въ \*\*\* полкъ и въ глухую крѣпость на границу Киргизъ-Кайсацкихъ степей!.... Я отобѣдалъ у Андрея Карловича, втроемъ съ его старымъ адъютантомъ. Строгая Пѣмецкая экономiя царствовала за его столомъ, и я думаю, что страхъ видѣть иногда лишняго гостя за своею холостою трапезою былъ отчасти причиною поспѣшнаго удаленiя моего въ гарнизонъ. На другой день я простился съ генераломъ и отправился къ мѣсту моего назначенiя.



## ГЛАВА III.

## КРѢПОСТЬ.

Мы въ Фортецім живемъ,  
 Жалѣмъ ѣдимъ и воду пьемъ;  
 А какъ лютые праги  
 Придутъ къ намъ на пироги,  
 Зададимъ гостямъ шкурушку:  
 Зарядимъ картечью пушку.

*Солдатская пѣснь.*

Старинные люди, мой батюшка.

*Исторскъ.*

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ. За ними простирались Киргизскія степи. Я погрузился въ размышленія, большею частію печальныя. Гарнизонная жизнь мало имѣла для меня привлекательности. Я старался вообразить себѣ капитана Миронова, моего буду-

наго начальника, и представлялъ его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромѣ своей службы, и готовымъ за всякую бездѣлицу садать меня подъ арестъ на хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ начало смеркаться. Мы ѣхали довольно скоро. Далече ли до крѣпости? — спросилъ я у своего ямщика. — «Недалече» — отвѣчалъ онъ. «Вонъ ужь видна.» — Я глядѣлъ во всѣ стороны, ожидая увидѣть грозные бастіоны, башни и валъ; но ничего не видалъ, кромѣ деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три или четыре скирда сѣна, полузанесенные снѣгомъ; съ другой скривившаяся мельница, съ лубочными крыльями, лѣниво опущенными. Гдѣ же крѣпость? — спросилъ я съ удивленіемъ. — «Да вотъ она» — отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее въѣхали. У воротъ увидѣлъ я старую чугунную пушку; улицы были тѣсны и кривы; избы низки и большую частію покрыты соломой. Я велѣлъ ѣхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высококомъ мѣстѣ, близъ деревянной же церкви.

Никто не встрѣтилъ меня. Я пошелъ въ сѣни и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на столѣ, нашивалъ синюю заплату на локоть

зеленаго мундира. Я велѣлъ ему доложить обо мнѣ. «Войди, батюшка» — отвѣчалъ инвалидъ; «наши дома.» Я вошелъ въ чистенькую комнатку, убранную постаринному. Въ углу стоялъ шкафъ съ посудой; на стѣнѣ висѣлъ дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красовались лубочныя картинки, представляющія взятіе Кистрина и Очакова, также выборъ невѣсты и погребеніе кота. У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ платкомъ на головѣ. Она разматывала нитки, которыя держала, распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ мундирѣ. «Что вамъ угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятіе. Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ на службу и явился по долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ обратился-было къ кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною рѣчь. «Ивана Кузмича дома нѣтъ» — сказала она; «онъ пошелъ въ гости къ отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула дѣвку и велѣла ей позвать урядника. Старичекъ своимъ одинокимъ глазомъ поглядывалъ на меня съ любопытствомъ. «Смѣю спросить» — сказалъ онъ; «вы въ какомъ полку изволили служить?» Я удовлетворилъ его любопытству. «А смѣю спросить» — продолжалъ

онъ, «зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ?» Я отвѣчалъ, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?» — продолжалъ неутомимый вопрошатель. — «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша; — «ты видишь, молодой человекъ съ дороги усталъ; ему не до тебя . . . (держи-ка руки прямѣ . . .). А ты, мой батюшка» — продолжала она, обращаясь ко мнѣ — «не печалься, что тебя упекли въ наше захолустье. Не ты первый, не ты послѣдній. Стерпится, слюбится. Швабринъ Алексѣй Ивановичъ вотъ ужъ пятый годъ какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаетъ, какой грѣхъ его попуталъ; онъ, изволишь видѣть, поѣхалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли съ собою шпаги да и ну другъ въ друга пырять, а Алексѣй Ивановичъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Что прикажешь дѣлать? На грѣхъ мастера идтъ.»

Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ. «Максимычъ!» — сказала ему капитанша. — «Отведи г. офицеру квартиру, да почище.» — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвѣчалъ урядникъ. — Не помѣститъ ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимычъ» — сказала капитанша: «у Полежаева и такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ, и помнитъ, что мы его началь-

ники. Отведи г. офицера . . . какъ ваше имя и отечество, мой батюшка?» — Петръ Андреичъ. — «Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну что, Максимычъ, все ли благополучно?»

— Все, слава Богу, тихо, — отвѣчалъ казакъ; — только капраль Прохоровъ подрался въ банѣ съ Устиньей Пегулиной за шайку горячей воды.

«Иванъ Игнатьичъ! — сказала капитанша кривому старичку. — «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виновать. Да обоихъ и накажи. Ну, Максимычъ, ступай себѣ съ Богомъ. Петръ Андреичъ, Максимычъ отведетъ васъ на вашу квартиру.»

Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половина избы занята была семейю Семена Кузова, другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы довольно опрятной, раздѣленной надвое перегородкой. Савельичъ сталъ въ ней распорядиться; я сталъ глядѣть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по улицѣ бродило нѣсколько куриць. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить мою моло-

досць! Тоска взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ спать безъ ужина, не смотря на увѣщанія Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ: «Господи владыка! ничего кушать не изволить! Что скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?»

На другой день поутру я только-что сталъ одѣваться, какъ дверь отворилась и ко мнѣ вошелъ молодой офицеръ невысокаго роста, съ лицомъ смутлымъ и отминно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ. «Извините меня» — сказалъ онъ мнѣ по-французки — «что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ приѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣческое лице такъ овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь еще нѣсколько времени.» — Я догадался, что это былъ офицеръ, выписанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ былъ очень неглухъ. Разговоръ его былъ остръ и занимателенъ. Онъ съ большою веселостію описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца, какъ вошелъ ко мнѣ тотъ самый инвалидъ, который чистилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабринъ вызвался итти со мною вмѣстѣ.

Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на площадкѣ человекъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фронтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрой и высокаго роста, въ колпакъ и въ китайчатомъ халатѣ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ, и сталъ опять командовать. Мы остановились-было смотрѣть на ученіе; но онъ просилъ насъ итти къ Василисѣ Егоровнѣ, обѣщаясь быть вслѣдъ за нами. «А здѣсь» — прибавилъ онъ — «нечего вамъ смотрѣть.»

Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно, и обошлась со мною какъ бы вѣкъ была знакома. Инвалидъ и Палашка накрывали столъ. Что это мой Иванъ Кузмичъ сегодня такъ заучился! — сказала комендантша. «Палашка, позови барина обѣдать. Да гдѣ же Маша?» — Тутъ вошла дѣвушка лѣтъ осьмнадцати, круглолицая, румяная, съ свѣтлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которыя у ней такъ и горѣли. Съ перваго взгляда она не очень мнѣ понравилась. Я смотрѣлъ на нее съ предубѣжденіемъ: Швабринъ описалъ мнѣ Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна сѣла въ уголь и стала шить. Между тѣмъ подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ

Палашку. «Скажи барину: гости-де ждутъ, щи простынуть; слава Богу, ученье не уйдетъ; успѣть накричатся.» — Капитанъ вскорѣ явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена, «кушанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься.» — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ — я былъ занятъ службой: солдатушекъ училъ.

«И, полно!» — возразила капитанша. — «Только слава, что солдатъ учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома, да Богу молился, такъ было бы лучше. Дорогіе гости, милости просимъ за-столь.»

Мы съѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, гдѣ живутъ и каково ихъ состояніе? Услыша, что у батюшки триста душъ крестьянъ, «легко ли!» — сказала она; «вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! А у насъ, мой батюшка, всего-то душъ одна дѣвка Палашка; да слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бѣда: Маша; дѣвка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да вѣникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!), съ чѣмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человекъ; а то сиди себѣ въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою.» — Я

взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснѣла, и даже слезы капнули на ея тарелку. Миѣ стало жаль ея, и я спѣшилъ перемѣнить разговоръ. Я слышалъ — сказалъ я довольно некстати — что на вашу крѣпость собираются напасть Башкирцы. «Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это слышать?» — спросилъ Иванъ Кузмичъ. — Миѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ — отвѣчалъ я. «Пустяки!» — сказалъ комендантъ. «У насъ давно ничего не слыхать. Башкирцы — народъ напуганный, да и Киргизцы проучены. Не бось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ орастку, что лѣтъ на десять угомону.» — И вамъ не страшно — продолжалъ я, обращаясь къ капитаншѣ — оставаться въ крѣпости, подверженной такимъ опасностямъ? — «Привычка, мой батюшка» — отвѣчала она. «Тому лѣтъ двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи Господи, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, вѣришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А теперь такъ привыкла, что и съ мѣста не тронусь, какъ придуть намъ сказать, что злодѣи около крѣпости рыщутъ.»

— Василиса Егоровна прехрабрая дама — замѣтилъ важно Швабринъ. — Иванъ Кузмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.

«Да, слышь ты,» сказалъ Иванъ Кузмичъ; баба-  
«то не робкаго десятка.»

— А Марья Ивановна? — спросилъ я; также  
ли свѣла, какъ и вы?

«Свѣла ли Маша? — отвѣчала ей мать. «Нѣтъ,  
Маша трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать  
выстрѣла изъ ружья: такъ и затрепещется. А  
какъ тому два года Иванъ Кузмичъ выдумалъ въ  
мои ямьины палить изъ нашей пушки, такъ она,  
моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не  
отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ  
проклятой пушки.»

Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитан-  
шею отправились спать; а я пошелъ къ Швабрину  
съ которымъ и провелъ цѣлый вечеръ.



## ГЛАВА IV.

## ПОЕДИНОКЪ.

— Иизъ изволь, и стань же въ позытуру.  
Посмотришь, причолою какъ я твою фигуру

*Княжича.*

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь моя въ Бѣлогорской крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною, но даже и пріятною. Въ домѣ коменданта былъ я принятъ какъ родной. Мужъ и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузмичъ, вышедшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, былъ человекъ необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его имъ управляла, что согласовалось съ его безопасностію. Василиса Егоровна и на дѣла службы смотрѣла какъ на свои хозяйскія, и управляла крѣпостію такъ

точно, какъ и своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную и чувствительную дѣвушку. Незамѣтнымъ образомъ я привязался къ доброму семейству, даже къ Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ въ непозволительной связи съ Васкисой Егоровной, что не имѣло и тѣни правдоподобія; но Швабринъ о томъ не беспокоился.

Я былъ произведенъ въ офицеры. Служба меня не отягощала. Въ богоспасаемой крѣпости не было ни смотровъ, ни учений, ни карауловъ. Комендантъ по собственной охотѣ училъ иногда своихъ солдатъ; но еще не могъ добиться, чтобы всѣ они знали, которая сторона правая, которая лѣвая. У Швабрина было нѣсколько Французскихъ книгъ. Я сталъ читать, и во мнѣ пробудилась охота къ литературѣ. По утрамъ я читалъ, упражнялся въ переводахъ, а иногда и въ сочиненіи стиховъ. Обѣдалъ почти всегда у коменданта, гдѣ обыкновенно проводилъ остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Памфиловной, первую вѣстовщицею во всемъ окологдѣ. Съ А. И. Швабринымъ, разумѣется, видѣлся я каждый день; но часъ отъ часу бесѣда его становилась для меня менѣе пріятною. Всегда-

пнія шутки его на счетъ семби коменданта мнѣ очень не нравились, особенно колкія замѣчанія о Марьѣ Ивановнѣ. Другаго общества въ крѣпости не было; но я другаго и не желалъ.

Не смотря на предсказанія, Башкирцы не возмутились. Спокойствіе царствовало вокругъ нашей крѣпости. Но миръ былъ прерванъ неожиданнымъ междоусобіемъ.

Я ужъ сказывалъ, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашняго времени, были изрядны, и Александръ Петровичъ Сумароковъ, нѣсколько лѣтъ послѣ, очень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мнѣ написать пѣсеньку, которою былъ я доволенъ. Извѣстно, что сочинители иногда подъ видомъ требованія совѣтовъ, ищутъ благосклоннаго слушателя. И такъ, переписавъ мою пѣсеньку, я понесъ ее къ Швабрину, который одинъ во всей крѣпости могъ оцѣнить произведеніе стихотворца. Послѣ маленькаго предисловія, вынулъ я изъ кармана свою тетрадку и прочелъ ему слѣдующіе стихи:

Мысль любовну истребля,  
Тщусь прекрасную забыть.  
И ахъ, Машу избѣгал,  
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя плѣнили,  
Всемигнута предо мной;  
Они духъ во мнѣ смутили,  
Сокрущали мой покой.

Ты, узнавъ мои напасти,  
Сжался, Маша, надо мной;  
Зря меня въ сей лютой части,  
И что я плѣненъ тобой.

Какъ ты это находишь? — спросилъ я Швабрина, ожидая похвалы, какъ дани, мнѣ непременно слѣдующей. Но къ великой моей досадѣ, Швабринъ, обыкновенно снисходительный, рѣшительно объявилъ, что пѣсня моя нехороша.

Почему такъ? — спросилъ я его, скрывая свою досаду.

«Потому» — отвѣчалъ онъ — «что такіе стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковскаго, и очень напоминаютъ мнѣ его любовные куплетцы,

Тутъ онъ взялъ отъ меня тетрадку и началъ немилосердно разбирать каждый стихъ и каждое слово, издѣваясь надо мной самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерпѣлъ, вырвалъ изъ рукъ его мою тетрадку и сказалъ, что ужъ въ жизнь не покажу ему своихъ сочиненій. Швабринъ посмѣялся и надъ этой угрозою. — «Посмотримъ, сказалъ онъ — «сдержишь

ли ты свое слово: стихотворцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану Кузмичу графинчикъ водки передъ обѣдомъ. А кто эта Маша, передъ которой изъясняешься въ нѣжной страсти и въ любовной напасти? Ужь не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дѣло — отвѣчалъ я нахмурысь — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнѣнія, ни твоихъ догадокъ.

«Ого! Самолюбивый стихотворецъ и скромный любовникъ! — продолжалъ Швабринъ, часъ-отъ-часу болѣе раздражая меня; — «но послушай дружескаго совѣта: коли ты хочешь успѣть, то совѣтую дѣйствовать не пѣсенками.»

— Что это, сударь, значить? Изволь объясниться.

«Съ охотою. Это значить, что ежели хочешь, чтобъ Маша Миронова ходила къ тебѣ въ сумерки, то вмѣсто нѣжныхъ стишковъ подари ей шару серегъ.»

Кровь моя закипѣла. А почему ты объ ней такого мнѣнія? — спросилъ я, съ трудомъ удерживая свое негодованіе.

«А потому, отвѣчалъ онъ съ адской усмѣшкою, что знаю по опыту ея нравъ и обычай.»

— Ты лжешь, мерзавецъ! — вскричалъ я въ бѣшенствѣ — ты лжешь самымъ безстыднымъ образомъ.

Швабринъ перемѣнился въ лицѣ. «Это тебѣ такъ не пройдетъ» — сказалъ онъ, стиснувъ мнѣ руку. «Вы мнѣ дадите сатисфакцію.»

— Изволь; когда хочешь! — отвѣчалъ я обрадовавшись. Въ эту минуту я готовъ былъ растерзать его.

Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу, и засталъ его съ иголкою въ рукахъ: по препорученію комендантши, онъ нанизывалъ грибы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичъ! » — сказалъ онъ увидя меня; «добро пожаловать! Какъ это васъ Богъ принесъ? по какому дѣлу, смѣю спросить?» Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, что поссорился съ Алексѣемъ Иваннычемъ, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичъ выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща на меня свой единственный глазъ. «Вы изволите говорить» — сказалъ онъ мнѣ — «что хотите Алексѣя Иванныча заколотъ, и желаете, чтобъ я при томъ былъ свидѣтелемъ? Такъ-ли, смѣю спросить?»

— Точно такъ.

«Помилуйте, Петръ Андреичъ! Что это вы затѣяли! Вы съ Алексѣемъ Иваннычемъ побрались? Велика бѣда! Брань на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье —

и разойдитесь; а мы васъ ужъ помиримъ. А то: доброе ли дѣло заколотъ своего ближняго, смѣю спросить? И добро бѣ ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алексѣемъ Иванычемъ; я и самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлитъ? Начто это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смѣю спросить?»

Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я остался при своемъ намѣреніи. «Какъ вамъ угодно» — сказалъ Иванъ Игнатьичъ; «дѣлайте, какъ разумѣете. Да зачѣмъ же мнѣ тутъ быть свидѣтелемъ? Къ какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смѣю спросить? Слава Богу, ходилъ я подъ Шведа и подъ Турку: всего насмотрѣлся.»

Я кое-какъ сталъ изъяснять ему должность секунданта, но Иванъ Игнатьичъ никакъ не могъ меня понять. «Воля ваша» — сказалъ онъ. «Коли ужъ мнѣ и вмѣшаться въ это дѣло, такъ развѣ пойти къ Ивану Кузмичу, да донести ему по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодѣйствіе, противное казенному интересу: не благоугодно ли будетъ господину коменданту принять надлежащія мѣры», . . .

Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уго-

вориль; онъ далъ мнѣ слово, и я рѣшился отъ него отступиться.

Вечеръ провелъ я, по обыкновенію своему, у коменданта. Я старался казаться веселымъ и равнодушнымъ, дабы не подать никакого подозрѣнія и избѣгнуть докучныхъ вопросовъ; но признаюсь, я не имѣлъ того хладнокровія, которымъ хвалятся почти всегда тѣ, которые находились въ моемъ положеніи. Въ этотъ вечеръ я расположенъ былъ къ нѣжности и къ умиленію. Марья Ивановна нравилась мнѣ болѣе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ быть, вижу ее въ послѣдній разъ, придавала ей въ моихъ глазахъ что-то трогательное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ его въ сторону, и увѣдомилъ его о своемъ разговорѣ съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачѣмъ намъ секунданты? сказалъ онъ мнѣ сухо: «безъ нихъ обойдемся.» Мы условились драться за скирдами, что находились подлѣ крѣпости, и явиться туда на другой день въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, по видимому, такъ дружелюбно, что Иванъ Игнатьичъ отъ радости проболтался. «Давно бы такъ» — сказалъ онъ мнѣ съ довольнымъ видомъ; «худой миръ лучше доброй ссоры, а и нечестень, такъ здоровь.»

«Что, что, Иванъ Игнатьичъ?» — сказала комендантша, которая въ углу гадала въ карты; «я не вслушалась.»

Иванъ Игнатьичъ, замѣтивъ во мнѣ знаки неудовольствія и вспомня свое обѣщаніе, смутился и не зналъ, что отвѣчать. Швабринъ подоспѣлъ къ нему на помощь.»

«Иванъ Игнатьичъ» — сказалъ онъ — «ободряетъ нашу мировую.

— А съ кѣмъ это, мой батюшка, ты ссорился?

«Мы было-поспорили довольно крупно съ Петромъ Андреичемъ.»

— За что такъ?

«За сущую бездѣлицу: за пѣсенку, Василиса Егоровна.»

— Нашли за что ссориться! за пѣсенку! . . . да какъ же это случилось?

«Да вотъ какъ: Петръ Андреичъ сочинилъ недавно пѣсню и сегодня запѣлъ ее при мнѣ, а я затянулъ мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять въ полночь.

Вышла разладица. Петръ Андреичъ было и разсердился; но потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ пѣть, что кому угодно. Тѣмъ и дѣло кончилось.»

Безстыдство Швабрина чуть меня не взбѣсило; но никто, кромѣ меня, не понялъ грубыхъ его обиняковъ; по крайней мѣрѣ, никто не обратилъ на нихъ вниманія. Отъ пѣсенекъ разговоръ обра-

тился къ стихотворцамъ, и комендантъ замѣтилъ, что всѣ они люди безпутные и горькіе пьяницы, и дружески совѣтоваль мнѣ оставить стихотворство, какъ дѣло службъ противное и ни къ чему доброму не доводящее.

Присутствіе Швабрина было мнѣ несносно. Я скоро простился съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришедъ домой, осмотрѣлъ свою шпагу; попробоваль ея конецъ и легъ спать, приказавъ Савельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.

На другой день въ назначенное время я стоялъ уже за скирдами, выжидая моего противника. Вскорѣ и онъ явился. «Насъ могутъ застать» — сказала онъ мнѣ; «надобно поспѣшить.» Мы сняли мундиры, остались въ однихъ камзолахъ и обнажили шпаги. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ появился Иванъ Игнатьичъ и человекъ пять инвалидовъ. Онъ потребоваль насъ къ коменданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ окружили, и мы отправились въ крѣпость вслѣдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ насъ въ торжествѣ, шагая съ удивительной важностію.

Мы вошли въ комендантскій домъ. Иванъ Игнатьичъ отворилъ двери, провозгласивъ торжественно: «привель!» Насъ встрѣтила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки! На что это похоже? какъ? что? въ нашей крѣпости заводять смертоубійство!

Иванъ Кузмичъ, сейчасъ ихъ подь арестъ! Петръ Андреичъ! Алексѣй Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичъ! Этого я отъ тебя не ожидала. Какъ тебѣ не совѣстно? Добро Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруеть; а ты-то что? туда же лѣзешь?»

Иванъ Кузмичъ вполнѣ соглашался съ своею супругою и приговаривалъ: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорить. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ.» Между тѣмъ Палашка взяла у насъ наши шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могъ не засмѣяться. Швабринъ сохранилъ свою важность. «При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ» — сказалъ онъ ей хладнокровно — не могу не замѣтить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дѣло». — Ахъ, мой батюшка! — возразила комендантша; — да развѣ мужъ и жена не единъ духъ и единая плоть? Иванъ Кузмичъ! Чтò ты зѣваешь? Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хлѣбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложить на нихъ эпитемію, чтобъ молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми.

Иванъ Кузмичь не зналъ, на что рѣшиться. Марья Ивановна была чрезвычайно блѣдна. Мало по малу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила насъ другъ друга поцаловать. Паланка принесла намъ наши шпаги. Мы вышли отъ коменданта, повидимому, примиренные. Иванъ Игнатьичъ насъ сопровождалъ. — Какъ вамъ не стыдно было, сказалъ я ему сердито, доносить на насъ коменданту послѣ того, какъ дали мнѣ слово того не дѣлать? — «Какъ Богъ святъ, я Ивану Кузмичу того не говорилъ» — отвѣчалъ онъ; «Василиса Егоровна вывѣдала все отъ меня. Она всѣмъ и распорядилась безъ вѣдома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ кончилось.» Съ этимъ словомъ онъ повернулъ домой, а Швабринъ и я остались наединѣ. Наше дѣло этимъ кончиться не можетъ — сказалъ я ему. «Конечно» — отвѣчалъ Швабринъ; «вы своею кровью будете отвѣчать мнѣ за вашу дерзость; но за нами вѣроятно станутъ присматривать. Нѣсколько дней намъ должно будетъ притворяться. До свиданія!» — И мы разстались, какъ ни въ чемъ не бывали.

Возратясь къ коменданту, я по обыкновенію своему подсѣлъ къ Марьѣ Ивановнѣ. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйствомъ. Мы разговаривали вполго-

лоса. Марья Ивановна съ нѣжностію выговаривала мнѣ за безпокойство, причиненное всѣмъ моею ссорою съ Швабринымъ. «Я такъ и обмерла» — сказала она — «когда сказали намъ, что вы намѣрены биться на шпагахъ. Какъ мущины странны! За одно слово, о которомъ чрезъ недѣлю вѣрно бѣ они позабыли, готовы рѣзаться и жертвовать не только жизнію, но и совѣстію и благополучіемъ тѣхъ, которые... Но я увѣрена, что не вы зачинщики ссоры. Вѣрно виновать Алексѣй Ивановичъ.»

— А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?

«Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю Алексѣя Ивановича. Онъ очень мнѣ противень; а странно: ни за что бѣ я не хотѣла, чтобъ и я ему также не нравилась. Это меня безпокоило бы страхъ.»

— А какъ вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нѣтъ?

Марья Ивановна заикнулась и покраснѣла. «Мнѣ кажется» — сказала она, «я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вамъ такъ кажется?

«Потому что онъ за меня сватался.»

— Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?

«Въ прошломъ году. Мѣсяца за два до вашего пріѣзда.»

— И вы не пошли?

«Какъ изволите видѣть. Алексѣй Ивановичъ конечно человѣкъ умный, и хорошей фамилии, и имѣеть состояніе; но какъ подумаю, что надобно будетъ подѣ вѣнцемъ при всѣхъ съ нимъ поцаловаться. . . . Ни за что? ни за какія благополучія!»

Слова Марьи Ивановны открыли мнѣ глаза и объяснили многое. Я понялъ упорное злорѣчіе, которымъ Швабринъ ее преслѣдовалъ. Вѣроятно, замѣчалъ онъ нашу взаимную склонность и старался отвлечь насъ другъ отъ друга. Слова, подавшія поводъ къ нашей ссорѣ, показались мнѣ еще болѣе гнусными, когда вмѣсто грубой и непристойной насмѣшки, увидѣлъ я въ нихъ обдуманную клевету. Желаніе наказать дерзкаго злоязычника сдѣлалось во мнѣ еще сильнѣе, и я съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать удобнаго случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидѣлъ я за элегіей и грызъ перо въ ожиданіи рифмы, Швабринъ постучался подѣ моимъ окошкомъ. Я оставилъ перо, взялъ шпагу и къ нему вышелъ. «Зачѣмъ откладывать?» — сказала мнѣ Швабринъ; «за нами не смотреть. Сойдемъ къ рѣкѣ. Тамъ никто намъ не помѣшаетъ. Мы отправились, молча. Спустиась по крутой тропинкѣ, мы остановились у самой рѣки и обнажили шпаги. Швабринъ былъ искуснѣе меня, но я сильнѣе и

смѣлѣе, и monsieur Бопре, бывшій нѣкогда солдатомъ, далъ мнѣ нѣсколько уроковъ въ фехтованіи, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожидалъ найти во мнѣ столь опаснаго противника. Долго мы не могли сдѣлать другъ другу никакого вреда; наконецъ, примѣтя, что Швабринъ ослабѣваетъ, я сталъ съ живостію на него наступать и загналъ его почти въ самую рѣку. Вдругъ услышалъ я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидѣлъ Савельича, сбѣгающаго ко мнѣ по нагорной тропинкѣ . . . . Въ это самое время меня сильно кольнуло въ грудь пониже праваго плеча; я упалъ и лишился чувствъ.



## ГЛАВА V.

## ЛЮБОВЬ.

Ахъ ты , дѣвка , дѣвка красная ;  
 Не ходи , дѣвка , молода замужъ ;  
 Ты спроси , дѣвка , отца , матери ,  
 Отца , матери , роду племеню ;  
 Наконцъ , дѣвка , ума-разума ,  
 Ума-разума , приданго .

*Письма народная.*

Буде лучше меня найдешь , позабудешь ,  
 Если хуже меня найдешь , вспомнишь .

*То же.*

Очнувшись, и нѣсколько времени не могъ опомниться и не понималъ, что со мною сдѣлалось. Я лежалъ на кровати, въ незнакомой горницѣ, и чувствовалъ большую слабость. Передо мною стоялъ Савельичъ со свѣчкою въ рукахъ. Кто-то бережно развивалъ перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я вспомнилъ свой поединокъ, и догадался, что былъ раненъ. Въ эту минуту

скрыпнула дверь. «Что? каковъ?» — произнесъ пошепту голосъ, отъ котораго я затрепеталъ. — Все въ одномъ положеніи, — отвѣчалъ Савельичъ со вздохомъ; — все безъ памяти, вотъ уже пятны сутки. — Я хотѣлъ оборотиться, но не могъ. Гдѣ я? кто здѣсь? сказалъ я съ усиленіемъ. Марья Ивановна подошла къ моей кровати и наклонилась ко мнѣ. «Что? какъ вы себя чувствуете?» сказала она. Слава Богу — отвѣчалъ я слабымъ голосомъ. Это вы, Марья Ивановна? Скажите мнѣ . . . я не въ силахъ былъ продолжать, и замолчалъ. Савельичъ ахнулъ. Радость изобразилась на его лицѣ. «Опомнися! опомнися!» — повторялъ онъ. «Слава тебѣ, Владыка! Ну, батюшка Петръ Андреичъ! напугалъ ты меня! легко ли? пятны сутки!» . . . Марья Ивановна перервала его рѣчь. «Не говори съ нимъ много, Савельичъ» — сказала она. «Онъ еще слабъ». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И такъ я былъ въ домѣ коменданта; Марья Ивановна входила ко мнѣ. Я хотѣлъ сдѣлать Савельичу нѣкоторые вопросы, но старикъ замоталъ головою и заткнулъ себѣ уши. Я съ досадою закрылъ глаза и вскорѣ забылся сномъ.

Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и вмѣсто его увидѣлъ передъ собою Марью Ивановну; ангельскій голосъ ея меня привѣтствовалъ. Не могу

выразить сладостнаго чувства, овладѣвшаго мною въ эту минуту. Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ ней, обливая слезами умиленія. Маша не отрывала ея . . . и вдругъ ея губки коснулись моея щеки, и я почувствовалъ ихъ жаркій и свѣжій поцалуй. Огонь пробѣжалъ по мнѣ. Милая, добрая Марья Ивановна — сказала я ей — будь моею женою, согласись на мое счастье. — Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь» — сказала она, отнявъ у меня свою руку. «Вы еще въ опасности: рана можетъ открыться. Поберегите себя хоть для меня.» Съ этимъ словомъ она ушла, оставя меня въ упоеніи восторга. Счастье воскресило меня. Она будетъ моя! она меня любить! Эта мысль наполняла все мое существованіе.

Съ той поры мнѣ часъ-отъ-часу становилось лучше. Меня лечилъ полковой цирюльникъ, ибо въ крѣпости другаго лекаря не было, и, славу Богу, не умничалъ. Молодость и природа ускорили мое выздоровленіе. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не отходила. Разумѣется, при первомъ удобномъ случаѣ я принялся за прерванное объясненіе, и Марья Ивановна выслушала меня терпѣливѣе. Она безо всякаго жеманства призналась мнѣ въ сердечной склонности и сказала, что ея родители конечно рады будутъ ея счастью. «Но подумай хорошень-

ко» — прибавила она ; «со стороны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствія?»

Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не сомнѣвался; но, зная нравъ и образъ мыслей отца, я чувствовалъ, что любовь моя не слишкомъ его тронетъ, и что онъ будетъ на нее смотрѣть, какъ на блажь молодого человѣка. Я чистосердечно признался въ томъ Марьѣ Ивановнѣ, и рѣшился однако писать къ батюшкѣ какъ мож о краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія. Я показаль письмо Марьѣ Ивановнѣ, которая нашла его столь убѣдительнымъ и трогательнымъ, что не сомнѣвалась въ успѣхѣ его, и предалась чувствамъ нѣжнаго своего сердца со всею довѣрчивостію молодости и любви.

Со Швабринымъ я помирился въ первые дни моего выздоровленія. Иванъ Кузмичъ, выговаривая мнѣ за поединокъ, сказалъ мнѣ: «Эхъ, Петръ Андреичъ! надлежало бы мнѣ посадить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ того наказанъ. А Алексѣй Иванычъ у меня таки-сидитъ въ хлѣбномъ магазинѣ подъ карауломъ, и шпага его подъ замкомъ у Василисы Егоровны. Пускай онъ себѣ надумается, да раскается.» — Я слишкомъ былъ счастливъ, чтобъ хранить въ сердцѣ чувство неприязненное. Я сталъ просить за Швабрину, и добрый комендантъ, съ согласія своей супруги,

рѣшился его освободить. Швабринъ пришелъ ко мнѣ; онъ изъявилъ глубокое сожалѣніе о томъ, что случилось между нами; признался, что былъ кругомъ виноватъ, и просилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи отъ природы незлопамятенъ, я искренно простилъ ему и нашу ссору и рану, мною отъ него полученную. Въ клеветѣ его видѣлъ я досаду оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго соперника.

Вскорѣ я выздоровѣлъ, и могъ перебраться на мою квартиру. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я отвѣта на посланное письмо, не смѣя надѣяться, и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился; но предложеніе мое не должно было ихъ удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать отъ нихъ свои чувства, и мы заранѣе были ужъ увѣрены въ ихъ согласіи.

Наконецъ однажды утромъ Савельичъ вошелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетомъ. Адресъ былъ написанъ рукою батюшки. Это приутовило меня къ чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мнѣ матушка, а онъ въ концѣ приписывалъ нѣсколько строкъ. Долго не распечатывалъ я пакета и перечитывалъ торжественную надпись: «Сыну моему Петру Ан-

дреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернію, въ Бѣлогорскую крѣпость.» Я старался по почерку угадать расположеніе духа, въ которомъ писано было письмо; наконецъ рѣшился его распечатать, и съ первыхъ строкъ увидѣлъ, что все дѣло пошло къ чорту. Содержаніе письма было слѣдующее:

«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь ты насъ о родительскомъ нашемъ благословеніи и согласіи на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего мѣсяца, и не только ни моего благословенія, ни моего согласія дать я тебѣ не намѣренъ, но еще и собираюсь до тебя добратъся, да за проказы твои проучить тебя путемъ, какъ мальчишку, не смотря на твой офицерскій чинъ: ибо ты доказалъ, что шпагу носить еще недостойнъ, которая пожалована тебѣ на защиту отечества, а не для дуелей съ такими же сорванцами, какъ въ ты самъ. Немедленно буду писать къ Андрею Карловичу, прося его перевести тебя изъ Бѣлогорской крѣпости куда нибудь подальше, гдѣ бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнавъ о твоёмъ поединкѣ и о томъ, что ты раненъ, съ горести занемогла и теперь лежитъ. Что изъ тебя будетъ? Молю Бога, чтобъ ты исправился, хоть и не смѣю надѣяться на Его великую милость.

Отецъ твой А. Г.»

Чтеніе сего письма возбудило во мнѣ разныя чувствованія. Жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминалъ о Марѣ Ивановнѣ, казалось мнѣ столь же непристойнымъ, какъ и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бѣлогорской крѣпости меня ужасала, но всего болѣе огорчило меня извѣстіе о болѣзни матери. Я негодовалъ на Савельича, не сомнѣваясь, что поединокъ мой сталъ извѣстенъ родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по тѣсной моей комнатѣ, я остановился передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него грозно: Видно тебѣ не довольно, что я, благодаря тебя, раненъ и цѣлый мѣсяцъ былъ на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить. Савельичъ былъ пораженъ какъ громомъ. «Помилуй, сударь» — сказалъ онъ чуть не зарыдавъ, — «что это изволишь говорить? Я причина, что ты былъ раненъ! Божь видитъ, бѣжалъ я заслонить тебя своею грудью отъ шага Алексѣя Ивановича! Старость проклятая помѣшала. Да что жъ я сдѣлалъ матушкѣ-то твоей?» — Что ты сдѣлалъ? — отвѣчалъ я. Кто просилъ тебя писать на меня доносы? развѣ ты приставленъ ко мнѣ въ шпионы? — «Я? писалъ на тебя доносы?» — отвѣчалъ Савельичъ со слезами. «Господи Царь Небесный! Такъ изволь-ка прочитай,

что пишеть ко мнѣ баринъ : увидишь, какъ я доносилъ на тебя.» Тутъ онъ вынулъ изъ кармана письмо, и я прочель слѣдующее :

«Стыдно тебѣ, старый песь, что ты, не взирая на мой строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ Петрѣ Андреевичѣ, и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня о его проказахъ. Такъ ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, стараго пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство къ молодому человѣку. Съ полученіемъ сего, приказываю тебѣ немедленно отписать ко мнѣ, каково теперь его здоровье, о которомъ пишутъ мнѣ, что поправилось; да въ какое именно мѣсто онъ раненъ и хорошо ли его залечили.»

Очевидно было, что Савельичъ передо мною былъ правъ, и что я напрасно оскорбилъ его упрекомъ и подозрѣніемъ. Я просилъ у него прощенія; но старикъ былъ неутѣшенъ. «Вотъ до чего я дожилъ» — повторялъ онъ; «вотъ какихъ милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и старый песь, и свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны? Нѣтъ, батюшка Петрѣ Андреевичъ! не я, проклятый мусье всему виноватъ; онъ научалъ тебя тыкаться желѣзными вертелами, да притопывать, какъ будто тыканіемъ да топаніемъ

убережешься отъ злаго челоуѣка! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишнія деньги!»

Но кто же бралъ на себя трудъ увѣдомить отца моего о моемъ поведеніи? Генераль? Но онъ, казалось, обо мнѣ не слишкомъ заботился; а Иванъ Кузмичъ не почелъ за нужное рапортовать о моемъ поединкѣ. Я терялся въ догадкахъ. Подозрѣнія мои остановились на Швабринѣ. Онъ одинъ имѣлъ выгоду въ доносѣ, коего слѣдствіемъ могло быть удаленіе мое изъ крѣпости и разрывъ съ комендантскимъ семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ Марьѣ Ивановнѣ. Она встрѣтила меня на крыльцѣ. «Что это съ вами сдѣлалось?» — сказала она, увидѣвъ меня. Какъ вы блѣдны! — Все кончено! — отвѣчалъ я, и отдалъ ей батюшкино письмо. Она поблѣднѣла въ свою очередь. Прочитавъ, она возвратила мнѣ письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мнѣ не судьба . . . . Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ; будьте хоть вы счастливы» . . . . Этому не бывать! — вскричалъ я, схвативъ ее за руку; ты меня любишь; я готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоимъ родителямъ; они люди простые, не жестокосердые гордецы . . . Они насъ благословятъ;

мы обвѣнчаемся... а тамъ, современемъ, я увѣренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ за насъ; онъ меня проститъ.... «Нѣтъ, Петръ Андреичъ» — отвѣчала Маша — «я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастья. Покоримся волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; а я за васъ обоихъ».... Тутъ она заплакала и ушла отъ меня; я хотѣлъ-было войти за нею въ комнату, но чувствовалъ, что былъ не въ состояніи владѣть самимъ собою и воротился домой.

Я сидѣлъ погруженный въ глубокую задумчивость, какъ вдругъ Савельичъ прервалъ мои размышленія. «Вотъ, сударь» — сказалъ онъ, подавая мнѣ исписанный листъ бумаги; — «посмотри, доносчикъ ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына съ отцомъ.» Я взялъ изъ рукъ его бумагу: это былъ отвѣтъ Савельича на полученное имъ письмо. Вотъ онъ отъ слова до слова:

«Государь Андрей Петровичъ, отецъ нашъ милостивый!

«Милостивое писаніе ваше я получилъ, въ которомъ изволишь гнѣваться на меня, раба вашего, что де стыдно мнѣ не исполнять господскихъ

приказаній; — а я, не старыи песь, а вѣрный вашъ слуга, господскихъ приказаній слушаюсь и усердно вамъ всегда служилъ и дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андреича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ испугу слегла, и за ея здоровье Богу буду молить. А Петръ Андреичъ ранень былъ подъ правое плечо, въ грудь, подъ самую косточку, въ глубину на полтора вершка, и лежалъ онъ въ домѣ у коменданта, куда принесли мы его съ берега, и лечилъ его здѣшній цырульникъ Степанъ Парамоновъ; и теперь Петръ Андреичъ, слава Богу здоровъ, и про него кромѣ хорошаго нечего и писать. Командиры, слышно, имъ довольны; а у Василисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А что съ нимъ случилась такая оказія, то былъ молодцу не укора: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За симъ кланяюсь рабски.

Вѣрный холопъ вашъ

Архипъ Савельевъ.»

Я не могъ нѣсколько разъ не улыбнуться, читая грамоту добраго старика. Отвѣчать батюшкѣ я былъ не въ состояннн; а чтобъ успокоить ма-

тушку, письмо Савельича мнѣ показалось достаточнымъ.

Съ той поры положеніе мое перемѣнилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избѣгать меня. Домъ коменданта сталъ для меня постыль. Мало по малу пріучился я сидѣть одинъ у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мнѣ пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня въ покоѣ. Съ Иваномъ Кузмичемъ видѣлся я только, когда того требовала служба. Со Швабринымъ встрѣчался рѣдко и неохотно, тѣмъ болѣе, что замѣчалъ въ немъ скрытую къ себѣ неприязнь, что и утверждало меня въ моихъ подозрѣніяхъ. Жизнь моя сдѣлалась мнѣ неснона. Я впалъ въ мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездѣйствіе. Любовь моя разгаралась въ уединеніи и часъ-отъ-часу становилась мнѣ тягостнѣе. Я потерялъ охоту къ чтенію и словесности. Духъ мой упалъ. Я боялся или сойти съ ума или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имѣвшія важныя вліянія на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душѣ сильное и благое потрясеніе.



## ГЛАВА VI.

## ПУГАЧЕВЩИНА.

—  
Вы, молодые ребята, послушайте,  
Что мы, старые старики, будемъ сказывать.

*Льсян.*

Прежде, нежели приступлю къ описанію странныхъ происшествій, коимъ я былъ свидѣтель, долженъ сказать нѣсколько словъ о положеніи, въ которомъ находилась Оренбургская губернія въ концѣ 1773 года...

Сія обширная и богатая губернія обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшихъ еще недавно владычество Россійскихъ Государей. Ихъ поминутныя возмущенія, непривычка къ законамъ и гражданской жизни, легкомысліе и жестокость требовали со стороны правительства непрестаннаго надзора для удержанія ихъ въ повинно-

веніи. Крѣпости выстроены были въ мѣстахъ, признанныхъ удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Яицкихъ береговъ. Но Яицкіе казаки, долженствовавшіе охранять спокойствіе и безопасность сего края, съ нѣкотораго времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. Въ 1772 году произошло возмущеніе въ ихъ главномъ городкѣ. Причиною тому были строгія мѣры, предпріятыя Генераль - Маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско къ должному повиновенію. Слѣдствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга, своевольная перемѣна въ управленіи, и наконецъ усмиреніе бунта картечью и жестокими наказаніями.

Это случилось нѣсколько времени передъ прибытіемъ моимъ въ Бѣлогорскую крѣпость. Все было уже тихо, или казалось таковымъ; начальство слишкомъ легко повѣрило мнимому раскаянію лукавыхъ мятежниковъ, которые злобствовали втайнѣ и выжидали удобнаго случая для возобновенія безпорядковъ.

Обращаюсь къ своему разсказу.

Однажды вечеромъ (это было въ началѣ Октября 1773 года) сидѣлъ я дома одинъ, слушая вой осенняго вѣтра и смотря въ окно на тучи, бѣгущія мимо луны, Пришли меня звать отъ имени

коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта нашель я Швабрина, Ивана Игнатъича и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендантъ со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ двери, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника, который стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу и сказалъ намъ: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, чтò пишетъ генералъ.» Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ слѣдующее:

«Господину коменданту Бѣлогорской крѣпости капитану Миронову.

«По секрету.

«Симъ извѣщаю васъ, что убѣжавшій изъ-подъ караула Донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непростительную дерзость пріятіемъ на себя имени покойнаго Императора Петра III, собралъ злодѣйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ Яицкія селенія, и уже взялъ и разорилъ нѣсколько крѣпостей, производи вездѣ грабежи и смертныя убійства. Того ради, съ полученіемъ сего, имѣете вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мѣры къ отраженію помянутаго злодѣя и самозванца, а буде можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится на крѣпость, ввѣренную вашему попеченію.»

«Принять надлежащія мѣры!» — сказалъ комендантъ, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодѣй-то видно силенъ; а у насъ всего сто тридцать человѣкъ, не считая казачковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ буди тебѣ сказано, Максимычъ (урядникъ усмѣхнулся). Однако дѣлать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; въ случаѣ нападенія, запирайте ворота, да выводите солдатъ. Ты, Максимычъ, смотри крѣпко за своими казаками. Пушку осмотрѣть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это втайнѣ, чтобъ въ крѣпости никто не могъ о томъ узнать преждевременно.»

Раздавъ сіи повелѣнія, Иванъ Кузмичъ насъ выпустилъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы слышали. Какъ ты думаешь, чѣмъ это кончится? — спросилъ я его. «Богъ знаетъ» — отвѣчалъ онъ; «посмотримъ. Важнаго покамѣстъ еще ничего не вижу. Если же»..... Тутъ онъ задумался и въ разсѣяніи сталъ насвистывать Французскую арію.

Не смотря на всѣ наши предосторожности, вѣсть о появленіи Пугачева разнеслась по крѣпости. Иванъ Кузмичъ, хотъ и очень уважалъ свою супругу, но ни за что на свѣтѣ не открылъ бы ей тайны, ввѣренной ему по службѣ. Получивъ

письмо отъ генерала, онъ довольно искуснымъ образомъ вышпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя содержать въ великой тайнѣ. Василиса Егоровна тотчасъ захотѣла отправиться въ гости къ попадѣ, и, по совѣту Ивана Кузмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.

Иванъ Кузмичъ, оставшись полнымъ хозяиномъ, тотчасъ послалъ за нами, а Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не могла насъ подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успѣвъ ничего вывѣдать отъ попадѣи, и узнала, что во время ея отсутствія было у Ивана Кузмича совѣщаніе, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и приступила къ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузмичъ приготовился къ нападенію. Онъ ни мало не смутился и бодро отвѣчалъ своей любопытной сожительницѣ: «А слышишь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а какъ отъ того можетъ произойти несчастіе, то я и отдалъ строгій приказъ впредь соломою бабамъ печей не топить, а топить хворостомъ и валежникомъ.» — А для чего жъ было тебѣ запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бѣдная дѣвка просидѣла въ чуланѣ, пока мы не воротились? —

Иванъ Кузмичъ не былъ приготовленъ къ такому вопросу; онъ запутался и пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидѣла коварство своего мужа; но зная, что ничего отъ него не добьется, прекратила свои вопросы и завела рѣчь о соленыхъ огурцахъ, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть, и никакъ не могла догадаться, что бы такое было въ головѣ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь отъ обѣдни, она увидѣла Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, записанный въ нее ребятишками. «Что бы значили эти военныя приготовления?» — думала комендантша; «ужъ не ждутъ ли нападенія отъ Киргизцевъ? Но не ужъ-то Иванъ Кузмичъ сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки? Она кликнула Ивана Игнатьича съ твердымъ намѣреніемъ вывѣдать отъ него тайну, которая мучила ея дамское любопытство.

Василиса Егоровна сдѣлала ему нѣсколько замѣчаній касательно хозяйства, какъ судія, начинающій слѣдствіе вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность отвѣтника. Потомъ помолчавъ нѣсколько минутъ, она глубоко вздох-

нула и сказала качая головою: «Господи Боже мой! Вишь какія новости! Что изъ этого будетъ?»

— И, матушка! — отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ. Богъ милостивъ: солдатъ у насъ довольно, пороху много, пушку я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не съѣстъ!

«А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?» — спросила комендантша.

Тутъ Иванъ Игнатьичъ замѣтилъ, что проговорился, и закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всемъ признаться, давъ ему слово не рассказывать о томъ никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе и никому не сказала ни одного слова, кромѣ попадби, и то потому только, что корова ея ходила еще въ степи и могла быть захвачена злодѣями.

Вскорѣ всѣ заговорили о Пугачевѣ. Толки были различны. Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ развѣдать хорошенько обо всемъ по сосѣднимъ селеніямъ и крѣпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ степи верстъ за шестьдесятъ отъ крѣпости видѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ Башкирцевъ, что идетъ невѣдомая сила. Впрочемъ не могъ онъ

сказать ничего положительнаго, потому что ѣхать далѣе побоялся.

Въ крѣпости между казаками замѣтно стало необыкновенное волненіе; во всѣхъ улицахъ они толпились въ кучки, тихо разговаривали между собою, и расходились, увидя драгуна или гарнизоннаго солдата. Подсланы были къ нимъ лазутчики. Юлай, крещеный Калмыкъ, сдѣлалъ коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, были ложны; по возвращеніи своемъ, лукавый казакъ объявилъ своимъ товарищамъ, что онъ былъ у бунтовщиковъ, представлялся самому ихъ предводителю, который допустилъ его къ своей рукѣ и долго съ нимъ разговаривалъ. Комендантъ немедленно посадилъ урядника подъ карауль, а Юлая назначилъ на его мѣсто. Эта новость принята была казаками съ явнымъ неудовольствіемъ. Они громко роптали, и Иванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантскаго распоряженія, слышалъ своими ушами, какъ они говорили: «Вотъ ужъ тебѣ будетъ, гарнизонная крыса!» Комендантъ думалъ въ тотъ же день допросить своего арестанта; но урядникъ бѣжалъ изъ-подъ караула, вѣроятно при помощи своихъ единомышленниковъ.

Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта. Схваченъ былъ Башкирецъ съ возму-

тительными листами. По сему случаю комендантъ думалъ опять собрать своихъ офицеровъ, и для того хотѣлъ опять удалить Василису Егоровну подь благовиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузмичъ былъ человекъ самый прямодушный и правдивый, то и не нашелъ другаго способа, кромѣ употребленнаго имъ единожды.

«Слышь ты, Василиса Егоровна» — сказалъ онъ ей покашливая. «Отецъ Герасимъ получилъ, говорятъ, изъ города» . . . . — Полно врать, Иванъ Кузмичъ, — перервала комендантша; ты, знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ меня потолковать объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ не проведешь.» — Иванъ Кузмичъ вытаращилъ глаза. «Ну, матушка» — сказалъ онъ — коли ты уже все знаешь, такъ, пожалуй, оставайся; мы потолкуемъ и при тебѣ.» — То-то, батька мой, — отвѣчала она; не тебѣ бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иванъ Кузмичъ въ присутствіи жены прочелъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ нибудь полуграматнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ о своемъ намѣреніи немедленно идти на нашу крѣпость; приглашалъ казаковъ и солдатъ въ свою шайку, а командировъ увѣщевалъ не сопротивляться, угрожая казню въ противномъ случаѣ. Воззваніе написано было въ

грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхъ, и должно было произвести опасное впечатлѣніе на умы простыхъ людей.

«Какое мошенникъ!» — воскликнула комендантша. «Что смѣетъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему на встрѣчу и положить къ ногамъ его знамена! Ахъ, онъ собачій сынъ! Да разве не знаетъ онъ, что мы уже сорокъ лѣтъ въ службѣ, и всего, слава Богу, насмотрѣлись? Не ужъ-то нашлись такіе командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы — отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ, А слышно, злодѣй завладѣлъ ужъ многими крѣпостями.

«Видно онъ въ самомъ дѣлѣ силенъ» — замѣтилъ Швабринъ.

— А вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу — сказалъ комендантъ. — Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ отъ анбара. Иванъ Игнатьичъ, приведи-ка Башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иванъ Кузмичъ» — сказала комендантша, вставая съ мѣста. «Дай уведу Мангу куда нибудь изъ дому; а то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.»

Пытка въ старину такъ была укоренена въ обычаяхъ судопроизводства, что благодѣтельный указъ, уничтожившій оную, долго оставался безо всякаго дѣйствія. Думали, что собственное признаніе преступника необходимо было для его полнаго обличенія — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицаніе подсудимаго не пріемлется въ доказательство его невинности, то признаніе его и того менѣе должно быть доказательствомъ его виновности. Даже и нынѣ случается мнѣ слышать старыхъ судей, жалѣющихъ объ уничтоженіи варварскаго обычая. Въ наше же время никто не сомнѣвался въ необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. И такъ приказаніе коменданта никого изъ насъ не удивило и не встревожило. Иванъ Игнатьичъ отправился за Башкирцемъ, который сидѣлъ въ анбарѣ подъ ключемъ у комендантши, и черезъ нѣсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Комендантъ велѣлъ его къ себѣ представить.

Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ въ колодкѣ), и, снявъ высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого чело-вѣка. Ему казалось лѣтъ за семьдесятъ. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита;

вмѣсто бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ былъ малаго росту, тощъ и сторблень; но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году. «Да ты видно старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты знать не въ первой уже бунтуешь, коли у тебя такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослалъ?»

Старый Башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на коменданта съ видомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?» продолжалъ Иванъ Кузмичъ; «али бельмеса по-Русски не разумѣешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослалъ въ нашу крѣпость?»

Юлай повторилъ на Татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана Кузмича. Но Башкирецъ глядѣлъ на него съ тѣмъ же выраженіемъ, и не отвѣчалъ ни слова.

«Якши» сказалъ комендантъ; «ты у меня заговоришь. Ребята! снимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ, да выстрочите ему спину. Смотри-жь, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали Башкирца раздѣвать. Лице несчастнаго изобразило безпокойство. Онъ оглядывался на всѣ стороны, какъ звѣрекъ, пойманный дѣтьми. Когда жъ одинъ изъ инвалидовъ

взялъ его руки и положилъ ихъ себѣ около шеи, поднялъ старика на свои плечи, а Юлай взялъ плеть и замахнулся: тогда Башкирецъ застоналъ слабымъ, умоляющимъ голосомъ, и кивая головою, открылъ ротъ, въ которомъ вмѣсто языка шевелился короткій обрубокъ.

Когда вспомню, что это случилось на моемъ вѣку, и что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія Императора Александра, не могу не удивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правилъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній.

Всѣ были поражены. «Ну» — сказалъ комендантъ; «видно намъ отъ него толку не добиться. Юлай, отведи Башкирца въ анбаръ. А мы, господа, кой о чемъ еще потолкуемъ.»

Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхалась и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.

«Что это съ тобою сдѣлалось?» спросилъ изумленный комендантъ.

— Батюшка, бѣда! — отвѣчала Василиса Егоровна. Нижнеозерная взята сегодня утромъ. Ра-

ботникъ отца Герасима сейчасъ оттуда воротился. Онъ видѣлъ какъ ее брали. Комендантъ и всѣ офицеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда.

Неожиданная вѣсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной крѣпости, тихій и скромный молодой человекъ, былъ мнѣ знакомъ: мѣсяца за два передъ тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ Оренбурга съ молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей крѣпости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу-на-часъ должно было и намъ ожидать нападенія Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мнѣ, и сердце у меня такъ и замерло.

Послушайте, Иванъ Кузмичъ! — сказала я коменданту. Долгъ нашъ защищать крѣпость до послѣдняго нашего издыханія; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога еще свободна, или въ отдаленную, болѣе надежную крѣпость, куда злодѣи не успѣли бы достигнуть.

Иванъ Кузмичъ оборотился къ женѣ и сказалъ ей: «А слышь ты, матушка, и въ самомъ дѣлѣ, не отправить ли васъ подалѣ, пока не управимся мы съ бунтовщиками?»

— И, пустое! — сказала комендантша. Гдѣ такая крѣпость, куда бы пули не залетали? Чѣмъ Бѣлогорская ненадежна? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и Башкирцевъ и Киргизцевъ: авось и отъ Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка» возразилъ Иванъ Кузмичь «оставься пожалуй, коли ты на крѣпость нашу надѣешься. Да съ Машей-то что намъ дѣлать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодѣи возьмутъ крѣпость?»

— Ну, тогда. . . . Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и замолчала съ видомъ чрезвычайнаго волненія.

«Нѣтъ, Василиса Егоровна, продолжалъ комендантъ, замѣчая, что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ первой разъ въ его жизни. «Машѣ здѣсь оставаться негоже. Отправимъ ее въ Оренбургъ къ ея крестной матери: тамъ и войска и пушекъ довольно, и стѣна каменная. Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправиться; даромъ, что ты старуха, а посмотри, что съ тобою будетъ, коли возьмутъ фортецію приступомъ.»

— Добро, — сказала комендантша, — такъ и быть, отправимъ Машу. А меня и во снѣ не проси: не поѣду. Нечего мнѣ подъ старость лѣтъ разставаться съ тобою, да искать одинокой могилы

на чужой сторонкѣ. Вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать.

«И то дѣло» сказалъ комендантъ. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чѣмъ свѣтъ ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хотъ людей лишнихъ у насъ и нѣтъ. Да гдѣ же Маша?»

— У Акулины Памфиловны, — отвѣчала комендантша. Ей сдѣлалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи Владыка, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъѣздѣ дочери. Разговоръ у коменданта продолжался; но я уже въ него не мѣшался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна явилась къ ужину, блѣдная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали изъ-за стола скорѣе обыкновеннаго; простясь со всѣмъ семействомъ, мы отправились по домамъ. Но я нарочно забылъ свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовалъ, что застану Марью Ивановну одну. Въ самомъ дѣлѣ, она встрѣтила меня въ дверяхъ и вручила мнѣ шпагу. «Прощайте, Петръ Андреичъ!» сказала она мнѣ со слезами; «Меня посылаютъ въ Оренбургъ. Будьте живы и счастливы; можетъ быть, Господь приведетъ насъ другъ съ другомъ увидѣться; если же нѣтъ» . . . . Тутъ она зарыдала. Я обнялъ ее. — Прощай,

ангелъ мой, — сказалъ я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, вѣрь, что послѣдняя моя мысль и послѣдняя молитва будетъ о тебѣ! Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее поцаловалъ, и поспѣшно вышелъ изъ комнаты.



## ГЛАВА VII.

## ПРИСТУПЪ.

Голова моя, головушка,  
Голова послушная!  
Послужила моя головушка  
Ровно тридцать лѣтъ и три года.  
Ахъ, не вымужила головушка  
Ни корысти себѣ, ни радости,  
Какъ ни слова себѣ добраго  
И не рагу себѣ высокога;  
Только выслужила головушка  
Два высокіе столбика,  
Черекладнику клеповую,  
Еще петельку шелковую.

*Народная пѣсня..*

Въ эту ночь я не спалъ и не раздѣвался. Я намѣренъ былъ отправиться на зарѣ къ крѣпостнымъ воротамъ, откуда Марья Ивановна должна была выѣхать, и тамъ проститься съ нею въ послѣдній разъ. Я чувствовалъ въ себѣ великую перемѣну: волненіе души моей было мнѣ гораздо менѣе тягостно, нежели то уныніе, въ которомъ еще недавно былъ я погруженъ. Съ грустію разлуки

сливались во мнѣ и неясныя, но сладостныя надежды, и нетерпѣливое ожиданіе опасностей, и чувства благороднаго честолюбія. Ночь прошла незамѣтно. Я хотѣлъ уже выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась и ко мнѣ явился капраль съ донесеніемъ, что наши казаки ночью выступили изъ крѣпости, взявъ насильно съ собою Юлая, и что около крѣпости развѣзжаютъ невѣдомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успѣетъ выѣхать, ужаснула меня; я поспѣшно далъ капралу нѣсколько наставленій, и тотчасъ бросился къ коменданту.

Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ по улицѣ, какъ услышалъ, что зовутъ меня. Я остановился. «Куда вы?» сказалъ Иванъ Игнатьичъ, догоняя меня. «Иванъ Кузмичъ на валу, и послалъ меня за вами. Пугачъ пришелъ.» — Уѣхала ли Марья Ивановна? — спросилъ я съ сердечнымъ трепетомъ. — «Не успѣла» отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ: «дорога въ Оренбургъ отрѣзана; крѣпость окружена. Плохо, Петръ Андреичъ!»

Мы пошли на валъ, возвышеніе, образованное природой и укрѣпленное частоколомъ. Тамъ уже толпились всѣ жители крѣпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку туда перетасили наканунѣ. Комендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Близость опасности одуше-

вляла стараго воина бодростію необыкновенной. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крѣпости, разѣзжали человѣкъ двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ними находились и Башкирцы, которыхъ легко можно было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря солдатамъ: «Ну, дѣтушки, постоимъ сегодня за матушку Государыню, и докажемъ всему свѣту, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабринъ стоялъ подлѣ меня и пристально глядѣлъ на непріятеля. Люди, разѣзжающіе въ степи, замѣтя движеніе въ крѣпости, съѣхались въ кучку и стали между собою толковать. Комендантъ велѣлъ Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ толпу, и самъ приставилъ фитиль. Ядро зажужжало и пролетѣло надъ ними, не сдѣлавъ никакого вреда. Наѣздники, разсѣясь, тотчасъ ускакали изъ виду, и степь опустѣла.

Тутъ явилась на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша, нехотѣвшая отстать отъ нея. «Ну, что?» сказала комендантша. «Каково идетъ баталья? Гдѣ же непріятель?» — Непріятель недалеко — отвѣчалъ Иванъ Кузмичъ. — Богъ дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страшно тебѣ? — «Нѣтъ, папенька,» — отвѣчала Марья Ивановна; «дома одной страшнѣе.» Тутъ она взглянула на

меня и съ усиліемъ улыбулась. Я невольно стиснулъ рукоять моей шпаги, вспомня, что наканунѣ получилъ ее изъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей любезной. Сердце мое горѣло. Я воображалъ себя ея рыцаремъ. Я жаждалъ доказать, что былъ достоинъ ея довѣренности и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать рѣшительной минуты.

Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ полверстѣ отъ крѣпости, показались новыя конныя толпы, и вскорѣ степь усѣялась множествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между ними на бѣломъ конѣ ѣхалъ человекъ въ красномъ кафтанѣ съ обнаженной саблею въ рукѣ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановился; его окружили и, какъ видно, по его повелѣнію, четыре человекъ отдѣлились и во весь опоръ подскакали подъ самую крѣпость. Мы въ нихъ узнали своихъ измѣнниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ бумаги; у другаго на кошь воткнута была голова Юлая, которую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколь. Голова бѣднаго Калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измѣнники кричали: «Не стрѣляйте; выходите вонъ къ Государю. Государь здѣсь!»

«Вотъ я васъ!» закричалъ Иванъ Кузмичъ. «Ребята! стрѣляй!» Солдаты наши дали залпъ. Какъ закъ, державшій письмо, зашатался и свалился съ

лошади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и велѣлъ ему взять листъ изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ устцы лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. Иванъ Кузмичъ прочелъ его про себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тѣмъ мятежники видимо приготовлялись къ дѣйствию. Вскорѣ пули начали свистать около нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколь. «Василиса Егоровна!» — сказалъ комендантъ. «Здѣсь не бабье дѣло; уведи Машу; видишь: дѣвка ни жива, ни мертва.»

Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взглянула на степь, на которой замѣтно было большое движеніе; потомъ оборотилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ Кузмичъ, въ животѣ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди къ отцу.»

Маша, блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузмичу, стала на колѣна и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ, и поцаловавъ, сказалъ ей измѣнившимся голосомъ: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не оставитъ.»

Коли найдется добрый человекъ, дай Богъ вамъ любовь да совѣтъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорѣе.» (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала). — Поцалуюсь жъ и мы, сказала, заплакавъ, комендантша. Прощай, мой Иванъ Кузмичъ. Отпусти мнѣ, коли въ чемъ я тебѣ досадила! — «Прощай, прощай, матушка!» сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успѣешь, надѣнь на Машу сарафанъ.» Комендантша съ дочерью удалились. Я глядѣлъ вослѣдъ Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнѣ головой. Тутъ Иванъ Кузмичъ обратился къ намъ, и все вниманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники сѣзжались около своего предводителя, и вдругъ начали сѣзгать съ лошадей. «Тенерь стойте крѣпко» сказалъ комендантъ; «будеть пристушь» . . . . Въ эту минуту раздался страшный визгъ и крикъ; мятежники бѣгомъ бѣжали къ крѣпости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе, и вдругъ выпалилъ опять. Картечьхватила въ самую средину толпы. Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и попятились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди . . . Онъ махалъ саблею, и казалось, съ жа-

ромъ ихъ уговариваль . . . . Крикъ и визгъ, умолкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну, ребята» сказалъ комендантъ; «теперь отвори ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку, за мною!»

Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я мигомъ очутились за крѣпостнымъ валомъ; но обрѣблѣый гарнизонъ не тронулся. «Что жъ вы, дѣтушки, стоите?» закричалъ Иванъ Кузмичъ. «Умирать, такъ умирать; дѣло служивое!» Въ эту минуту мятежники набѣжали на насъ и ворвались въ крѣпость. Барабанъ умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня спшибли-было съ ногъ, но я всталъ и вмѣстѣ съ мятежниками вошелъ въ крѣпость. Комендантъ, раненый въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ, которые требовали отъ него ключей. Я бросился къ нему на помощь: нѣсколько дюжихъ казаковъ схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вотъ ужо вамъ будетъ, Государевымъ послушникамъ!» Насъ потащили по улицамъ; жители выходили изъ домовъ съ хлѣбомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали въ толпѣ, что Государь на площади ожидаетъ плѣнныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ на площадь; насъ потащили туда же.

Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго дома. На немъ былъ красивый казацкій

кафтанъ, обшитый галунами. Высокая соболья шанка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лице его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старшины окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ у крыльца, съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча, умолялъ его за предстоящія жертвы. На площади ставили наскоро висѣлицу. Когда мы приблизились, Башкирцы разогнали народъ и насъ представили Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина. «Который комендантъ?» спросилъ самозванецъ. Нашъ урядникъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузмича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ ты смѣлъ противиться мнѣ, своему Государю?» Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ послѣднія силы, и отвѣчалъ твердымъ голосомъ: «Ты мнѣ не Государь, ты воръ и самозванецъ, слышь ты!» Пугачевъ мрачно нахмурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣсколько казаковъ подхватили стараго капитана и потащили къ висѣлицѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувѣченный Башкирецъ, котораго допрашивали мы накануне. Онъ держалъ въ рукѣ веревку и черезъ минуту увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатъича. «Присягай» сказалъ ему Пуга-

чевъ «Государю Петру Феодоровичу!» — Ты намъ не Государь, — отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, воръ и самозванецъ! — Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подлѣ своего стараго начальника.

Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моихъ товарищей. Тогда, къ неопisanному моему изумленію, увидѣлъ я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ кафтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько словъ. «Вѣшать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ уже на меня. Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ и моля Его о спасеніи всѣхъ близкихъ моему сердцу. Меня притащили подѣ висѣлицу. «Не бось, не бось» повторяли мнѣ губители, можетъ быть, и вправду желая меня ободрить. Вдругъ услышалъ я крикъ: «Постойте, окаянныя! погодите!» . . . Палачи остановились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева. «Отецъ родной!» говорилъ бѣдный дядька. «Что тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; а для примѣра и страха ради, вели новѣ-

силь хотъ меня старика!» Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили. «Батюшка нашъ тебя милуетъ» говорили мнѣ. Въ эту минуту не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему избавленію, не скажу однако жъ, чтобъ я о немъ и сожалѣлъ. Чувствованія мои были слишкомъ смутныя. Меня снова привели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колѣна. Пугачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку. «Цалуй руку, цалуй руку!» говорили около меня. Но я предпочелъ бы самую лютую казнь такому подлomu униженію. «Батюшка Петръ Андреичъ!» шептала Савельичъ, стоя за мною и толкая меня. «Не упрямься! Что тебѣ стоитъ? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поцалуй у него ручку.» Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкою: «Его благородіе знать одурѣлъ отъ радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободѣ. Я сталъ смотрѣть на продолженіе ужасной комедіи.

Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ, цалуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, рѣзалъ у нихъ косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою

шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ кресель и сошелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой сбруей. Два казака взяли его подъ руки и посадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что будетъ обѣдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздѣтую донага. Одинъ изъ нихъ успѣлъ уже нарядиться въ ея душегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» кричала бѣдная старушка. «Отпустите душу на покаяніе. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. «Злодѣи!» закричала она въ изступленіи. «Что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузмичъ, удамая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки Прусскіе, ни пули Турецкія; не въ честномъ бою положилъ ты свой животъ, а сгинулъ отъ бѣлаго каторжника!» — Унять старую вѣдьму! — сказалъ Пугачевъ. Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросился за нимъ.

---

## ГЛАВА VIII.

## НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ.

Незванный гость хуже Татарина.

*Пословица.*

Площадь опустыла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ, и не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлѣнiями.

Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Гдѣ она? что съ нею? успѣла ли спрятаться? надежно ли ея убѣжище? . . . Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ комендантскій домъ. . . Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбѣжалъ по маленькой лѣстницѣ, которая вела въ свѣтлицу, и въ первый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я

шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ кресель и сошелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой сбруей. Два казака взяли его подъ руки и посадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что будетъ обѣдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нѣскольکو разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздѣтую донага. Одинъ изъ нихъ успѣлъ уже нарядиться въ ея дѣшегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь. «Батюшки мои!» кричала бѣдная старушка. «Отпустите душу на покаяніе. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа. «Злодѣи!» закричала она въ изступленіи. «Что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузмичъ, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки Прусскіе, ни пули Турецкія; не въ честномъ бою положилъ ты свой животъ, а сгинулъ отъ бѣлаго каторжника!» — Унять старую вѣдьму! — сказалъ Пугачевъ. Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросился за нимъ.



## ГЛАВА VIII.

## НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ.

—

Незванный гость хуже Татарины.  
*Пословица.*

Площадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ, и не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлѣнiями.

Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Гдѣ она? что съ нею? успѣла ли спрятаться? надежно ли ея убѣжище? . . . Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ комендантскiй домъ. . . Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбѣжалъ по маленькой лѣстницѣ, которая вела въ свѣтлицу, и въ первый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я

увидѣлъ ея постелю, перерытую разбойниками; шкапъ былъ разломанъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ опустѣлымъ кивотомъ. Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее въ простѣнкѣ.... Гдѣ жь была хозяйка этой смиренной, дѣвической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умѣ моемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ у разбойниковъ.... Сердце мое сжалось.... Я горько, горько заплакалъ, и громко произнесъ имя моей любезной.... Въ эту минуту послышался легкій шумъ, и изъ-за шкапа явилась Палаша, блѣдная и трепещущая.

«Ахъ, Петръ Андреичъ!» сказала она, всплеснувъ руками. «Какой денёкъ! какія страсти!»...

— А Марья Ивановна? — спросилъ я нетерпѣливо. Что Марья Ивановна?

«Барышня жива» отвѣчала Палаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны.»

— У попадѣи! — вскричалъ я съ ужасомъ. — Боже мой! да тамъ Пугачевъ! —

Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на улицѣ и опроретью побѣжалъ въ домъ священника, ничего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ и пѣсни.... Пугачевъ нировалъ съ своими товарищами. Палаша прибѣжала туда же за мною. Я подослалъ ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Черезъ минуту

попадья вышла ко мнѣ въ сѣни съ пустымъ штофомъ въ рукахъ.

— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? — спросилъ я съ неизъяснимымъ волненіемъ.

«Лежить, моя голубушка, у меня на кровати, тамъ за перегородкою» отвѣчала попадья. «Ну, Петръ Андренчъ, чуть-было не стряслась бѣда; да слава Богу, все прошло благополучно: злодѣй только-что усѣлся обѣдать, какъ она моя бѣдняжка очнется, да застонеть! . . . Я такъ и обмерла. Онъ услышалъ: «А кто это у тебя охаетъ, старуха?» Я вору въ поясъ: племянница моя, Государь; захворала, лежитъ, вотъ ужъ другая недѣля. — «А молода твоя племянница?» — Молода, Государь. — «А покажи-ка мнѣ, старуха, свою племянницу.» — У меня сердце такъ и йкнуло, да нечего было дѣлать. — Изволь, Государь; только дѣвка-то не сможетъ встать и явиться къ твоей милости. — «Ничего, старуха, я и самъ пойду-погляжу.» И вѣдь понесъ окаянный за перегородку; какъ ты думаешь! вѣдь отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ ястребиными своими глазами — и ничего . . . Богъ вынесъ! А вѣришь ли, я и батька мой такъ ужъ и припротоптались къ мученической смерти. Къ счастью, она моя голубушка не узнала его. Господи Владыка, дождались мы праздника! Нечего сказать! бѣдный Иванъ Куз-

мичь! кто бы подумалъ!... А Василиса-то Егоровна? А Иванъ-то Игнатьичъ? Его-то за что?... Какъ это васъ пощадили? А каковъ Швабринъ, Алексѣй Ивановичъ? Вѣдь остригся въ кружокъ и теперь у насъ тутъ же съ ними пируетъ! Проворень, нечего сказать! А какъ сказала я про больную племянницу, такъ онъ, вѣришь ли, такъ взглянулъ на меня, какъ-бы ножемъ насквозь; однако не выдалъ, спасибо ему и за то.» — Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и голосъ отца Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожительницу. Попадья расклопоталась. «Ступайте-себѣ домой, Петръ Андреичъ» сказала она; «теперь не до васъ; у злодѣевъ попойка идетъ. Бѣда, попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ. Чтò будетъ, то будетъ; авось Богъ не оставитъ!»

Попадья ушла. Нѣсколько успокоенный, я отправился къ себѣ на квартиру. Проходя мимо площади, я увидѣлъ нѣсколько Башкирцевъ, которые тѣснились около висѣлицы и стаскивали сапоги съ повѣшенныхъ; съ трудомъ удержалъ я порывъ негодованія, чувствуя бесполезность заступленія. По крѣпости бѣгали разбойники, грабя офицерскіе дома. Вездѣ раздавались крики пьянствующихъ мятежниковъ. Я пришелъ домой. Савельичъ встрѣтилъ меня у порога. «Слава Богу!»

вскричалъ онъ, увидя меня. Я было-думалъ, что злодѣи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петръ Андреичъ! вѣришь ли? все у насъ разграбили, мошенники: платье, бѣлье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живаго отпустили! А узналъ ли ты, сударь, атамана?»

— Нѣтъ, не узналъ; а кто жъ онъ такой?

«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьяницу, который выманилъ у тебя тулупъ на постояломъ дворѣ? Заячій тулупчикъ совсѣмъ новѣшенькій; а онъ, бестія, его такъ и распоролъ, напяливая на себя!»

Я изумился. Въ самомъ дѣлѣ сходство Пугачева съ моимъ вожатымъ было разительно. Я удостоившись, что Пугачевъ и онъ были одно и то же лице, и понялъ тогда причину пощады, мнѣ оказанной. Я не могъ не подивиться странному сщпленію обстоятельствъ: дѣтскій тулупъ, подаренный бродягѣ, избавлялъ меня отъ петли, и пьяница, шатавшійся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ крѣпости и потрясалъ государствомъ!

«Не изволишь ли покушать?» спросилъ Савельичъ, неизмѣнный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нѣтъ; пойду, пошарю, да чтонибудь тебѣ изготовлю.»

Оставшись одинъ, я погрузился въ размышленія. Чтò мнѣ было дѣлать? Оставаться въ крѣ-

пости, подвластной злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но любовь сильно совѣтовала мнѣ оставаться при Марьѣ Ивановнѣ и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя я и предвидѣлъ скорую и несомнѣнную перемѣну въ обстоятельствахъ, но все же не могъ не трепетать, воображая опасность ея положенія.

Размышленія мои были прерваны приходомъ одного изъ казаковъ, который прибѣжалъ съ объявленіемъ, «что-де Великій Государь требуетъ тебя къ себѣ.» — Гдѣ же онъ? — спросилъ я, готовясь повиноваться.

«Въ комендантскомъ» отвѣчалъ казакъ. «Послѣ обѣда батюшка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаетъ. Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обѣдомъ скушать изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, а пàрится такъ жарко, что и Тарась Курочкинъ не вытерпѣлъ, отдалъ вѣзникъ Ѳомкѣ Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ приемы такіе важные... А въ банѣ, слышно, показывалъ царскіе свои знаки на грудяхъ: на одной двуглавый орелъ, величиною съ пятакъ, а на другой персона его.»

Я не почелъ нужнымъ оспаривать мнѣнія казака, и съ нимъ вмѣстѣ отправился въ комендантскій домъ, заранѣ воображая себѣ свиданіе съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чѣмъ оно кончится. Читатель легко можетъ себѣ представить, что я не былъ совершенно хладнокровенъ.

Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно чернѣла. Тѣло бѣдной комендантши все еще валялось подѣ крыльцемъ, у котораго два казака стояли накараулѣ. Казакъ, приведшій меня, отправился про меня доложить, и, тотчасъ же воротившись, ввелъ меня въ ту комнату, гдѣ наканунѣ такъ вѣжно прощался я съ Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мнѣ представилась. За столомъ, накрытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами, Пугачевъ и человѣкъ десять казацкихъ старшинъ сидѣли, въ шапкахъ и цвѣтныхъ рубацкахъ, разгоряченные виномъ, съ красными рожамъ и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранныхъ измѣнниковъ. «А, ваше благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увидя меня. «Добро пожаловать; честь и мѣсто, милости просимъ.» Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ мой, молодой казакъ, стройный и краси-

вый, налилъ мнѣ стаканъ простаго вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на столъ и подпирая черную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявляли ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался къ человѣку лѣтъ пятидесяти, называя его то графомъ, то Тимоѣеичемъ, а иногда величая его дядюшкою. Всѣ обходились между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шель объ утреннемъ приступѣ, объ успѣхѣ возмущенія и о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ, предлагалъ свои мнѣнія и свободно оспаривалъ Пугачева. И на семь-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшено было итти къ Оренбургу: движеніе дерзкое, и которое чуть-было не увѣнчалось бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню. «Ну, братцы» сказалъ Пугачевъ «затянемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пѣсенку. Чумаковъ! начинай!» Сосѣдъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую пѣсню, и всѣ подхватили хоромъ:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,

Не мѣшай мнѣ доброму молодцу думу думати.

Что завтра мнѣ доброму молодцу въ допросъ итти

Передъ грознаго судью, самаго Царя.  
Еще станеть Государь-Царь меня спрашивать :  
Ты скажи, скажи, дѣтинушка крестьянскій сынъ,  
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,  
Еще много-ли съ тобой было товарищей?  
Я скажу тебѣ, надежа православный Царь,  
Всею правду скажу тебѣ, всю истину,  
Что товарищей у меня было четверо :  
Еще первой мой товарищъ темная ночь,  
А второй мой товарищъ булатный ножъ,  
А какъ третій-то товарищъ, то мой добрый конь,  
А четвертой мой товарищъ, то тугой лукъ ;  
Что рассыльщики мои, то калены стрѣлы.  
Что возговорить надежа православный Царь :  
Исполать тебѣ, дѣтинушка крестьянскій сынъ,  
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать !  
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую  
Среди поля хоромами высокими,  
Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно рассказать, какое дѣйствіе произвела на меня эта простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ, и безъ того выразительнымъ — все потрясало меня какимъ-то пѣитическимъ ужасомъ.

Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за ними

послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ: «Сиди; я хочу съ тобою переговорить.» — Мы остались глазъ-на-глазъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворной веселостію, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная чему.

«Что, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ. «Струсилъ ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебѣ веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось. . . . А покачался бы на перекадинѣ, если бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человекъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ Великій Государь? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важный и таинственный.) Ты крѣпко предо мною виноватъ» продолжалъ онъ; «но я помиловалъ тебя за твою добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу, когда принужденъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обѣщаешься ли служить мнѣ съ усердіемъ?»

Вопросъ мошенника и его дерзость показали мнѣ такъ забавны, что я не могъ не усмѣхнуться.

«Чему ты усмѣхаешься?» спросилъ онъ меня, нахмурился. «Или ты не вѣришь, что я Великій Государь? Отвѣчай прямо.»

Я смутился. Признать бродягу Государемъ былъ я не въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ — было подвергнуть себя погибели; и то, на что былъ я готовъ подъ висѣлицею въ глазахъ всего народа въ первомъ пылу негодованія, теперь казалось мнѣ бесполезной хвастливостію. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (и еще нынѣ съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнѣ надъ слабостію человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву: Слушай; скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли я признать въ тебѣ Государя? Ты человѣкъ смышленный: ты самъ увидѣлъ бы, что я лукавствую:

«Кто-же я таковъ, по твоему разумѣнію?»

— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ, ты шутишь опасную шутку.

Пугачевъ взглянулъ на меня быстро. «Такъ ты не вѣришь» сказалъ онъ, «чтобъ я былъ Государь Петръ Ѳеодоровичъ? Ну, добро. А развѣ нѣтъ удачи удалому? Развѣ встарину Гришка Отрепьевъ не царствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а отъ меня не отставай. Какое тебѣ дѣло

до инаго-прочаго? Кто ни пошъ, такъ батька. Послужи мнѣ вѣрой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршалы, и въ князья. Какъ ты думаешь?»

— Нѣтъ, — отвѣчалъ я съ твердостью. Я природный дворянинъ; я присягалъ Государынѣ Императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался. «А коли отпущу» сказалъ онъ, «такъ общаешься ли по крайней мѣрѣ противъ меня не служить?»

— Какъ могу тебѣ въ этомъ общаться? — отвѣчалъ я. Самъ знаешь, не моя воля: велѣтъ итти противъ тебя — пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Богъ тебѣ судья; а я сказалъ тебѣ правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Казнить, такъ казнить, миловать такъ миловать. Ступай себѣ на всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай-себѣ спать, и меня ужъ дрема клонить.»

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мѣсяць и звѣзды ярко сіяли, освѣщая площадь и висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно и темно. Только въ кабаѣ свѣтился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Стави и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришелъ къ себѣ на квартиру, и нашелъ Савельича, горюющаго по моему отсутствіи. Вѣсть о свободѣ моей обрадовала его несказанно. «Слава тебѣ, Владыка!» сказалъ онъ перекрестившись. «Чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ; покушай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ у Христа за пазушкой.

Я послѣдовалъ его совѣту, и, поужинавъ съ большимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и физически.



## ГЛАВА IX.

## РАЗЛУКА.

Сладко было спознаваться  
Мнѣ, прекрасная, съ тобой;  
Грустно, грустно расставаться,  
Грустно, будто бы съ душой.

*Херасковъ,*

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы Пугачевскія около висѣлицы, гдѣ все еще висѣли вчерашнія жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между коихъ узналъ я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всѣ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ устцы прекрасную бѣлую лошадь Киргизской породы. Я искалъ глазами тѣла комендантши. Оно

было отнесено немного въ сторону и прикрито рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на крыльцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ изъ старшихъ подалъ ему мѣшокъ съ мѣдными деньгами, и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ бросался ихъ подбирать, и дѣло обошлось не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣнiе, и онъ отворотился съ выраженiемъ искренней злобы и притворной насмѣшливости. Пугачевъ, увидѣвъ меня въ толпѣ, кивнулъ мнѣ головою и подозвалъ къ себѣ. «Слушай» сказалъ онъ мнѣ. «Ступай сей же часъ въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Присовѣтуй имъ встрѣтить меня съ дѣтскою любовiю и послушаниемъ; не то не избѣжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородiе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрину. «Вотъ вамъ, дѣтупки, новый командиръ. Слушайте его во всемъ, а онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сія слова: Швабринъ дѣлался начальникомъ крѣпости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Боже, что съ нею будетъ!

Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дождавшись казаковъ, которые хотѣли-было посадить его.

•. Въ это время, изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву, и подаль ему листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ. «Это что?» спросилъ важно Пугачевъ. — Прочитай, такъ изволишь увидѣть — отвѣчалъ Савельичъ. Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ. «Что ты такъ мудрено пишешь?» сказалъ онъ наконецъ. Наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?»

Молодой малой въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ къ Пугачеву. «Читай вслухъ» сказалъ самозванецъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ читать слѣдующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей.»

— Это что значить? — сказалъ, нахмурясь, Пугачевъ.

Прикажи читать далѣе — отвѣчалъ спокойно Савельичъ.

Оберъ-секретарь продолжалъ:

«Мундиръ изъ тонкаго зеленого сукна, на семь рублей.

«Штаны бѣлые суконные, на пять рублей.

«Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ Голландскихъ съ манжетами, на десять рублей.

«Погребецъ съ чайною посудю, на два рубля, съ полтиною . . . .

— Что за вранье? — прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ манжетами?

Савельичъ крикнулъ и сталъ объясняться. «Это, батюшка, изволишь видѣть, реестръ барскому добру, раскраденному злодѣями» . . . .

— Какими злодѣями? — спросилъ грозно Пугачевъ.

«Виновать : обмолвился» отвѣчалъ Савельичъ. «Злодѣи не злодѣи, а твои ребята, таки пошарили, да порастаскали. Не гнѣвись : конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать.»

— Дочитывай — сказалъ Пугачевъ. Секретарь продолжалъ :

«Одѣяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, 40 руб.

«Еще зайчій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворѣ, 15 рублей.

— Это что еще! — вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.

до инаго-пречаго? Кто ни пошь, такъ батька. послужи мнѣ върой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдмаршалы, и въ князья. Какъ ты думаешь?»

— Нѣтъ, — отвѣчалъ я съ твердостью. Я природный дворянинъ; я присягалъ Государынѣ Императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался. «А коли отпущу» сказалъ онъ, «такъ общаешься ли по крайней мѣрѣ противъ меня не служить?»

— Какъ могу тебѣ въ этомъ общаться? — отвѣчалъ я. Самъ знаешь, не моя воля: велятъ идти противъ тебя — пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпусти меня — спасибо; казнишь — Богъ тебѣ судья; а я сказалъ тебѣ правду.

Моя искренность поразилъ Пугачева. «Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Казнить, такъ казнить, миловать такъ миловать. Ступай себѣ на всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай-себѣ спать, и меня ужъ дрема клонить.»

Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мѣсяцъ и звѣзды ярко сіяли, освѣщая площадь и висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно и темно. Только въ кабацкѣ свѣтился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришелъ къ себѣ на квартиру, и нашелъ Савельича, горяющаго по моему отсутствію. Вѣсть о свободѣ моей обрадовала его несказанно. «Слава тебѣ, Владыка!» сказалъ онъ перекрестившись. «Чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ; покупай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ у Христа за пазушкой.

Я послѣдовалъ его совѣту, и, поужинавъ съ большимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и физически.



## ГЛАВА IX.

## РАЗЛУКА.

Сладко было спознаваться  
Мнѣ, прекрасная, съ тобой;  
Грустно; грустно расставаться,  
Грустно, будто бы съ душой.

*Херасковъ,*

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы Пугачевскія около висѣлицы; гдѣ все еще висѣли вчерашнія жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между коихъ узналъ я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всѣ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ устцы прекрасную бѣлую лошадь Киргизской породы. Я искалъ глазами тѣла комендантши. Оно.

было отнесено немного въ сторону и прикрито рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на крыльцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ изъ старшихъ подалъ ему мѣшокъ съ мѣдными деньгами, и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ бросался ихъ подбирать, и дѣло обошлось не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился съ выраженіемъ искренней злобы и притворной насмѣшливости. Пугачевъ, увидѣвъ меня въ толпѣ, кивнулъ мнѣ головою и подошелъ къ себѣ. «Слушай!» сказалъ онъ мнѣ. «Слушай сей же часъ въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Присовѣтуй имъ встрѣтить меня съ дѣтскою любовію и послушаніемъ; не то не избѣжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрина. «Вотъ вамъ, дѣтшки, новый командиръ. Слушайте его во всемъ, а онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость.» Съ ужасомъ услышалъ я сіи слова: Швабринъ дѣлался начальникомъ крѣпости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Боже, что съ нею будетъ!

Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадей. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дождавшись казаковъ, которые хотѣли-было посадить его.

Въ это время, изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву, и подалъ ему листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ. «Это что?» спросилъ важно Пугачевъ. — Прочитай, такъ изволишь увидѣть — отвѣчалъ Савельичъ. Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ. «Что ты такъ мудро нищешь?» сказалъ онъ наконецъ. Наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?»

Молодой малой въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ къ Пугачеву. «Читай вслухъ» сказалъ самозванецъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой издумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громкогласно сталъ по складамъ читать слѣдующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей.»

— Это что значить? — сказалъ, нахмурясь, Пугачевъ.

Приказки читать далѣе — отвѣчалъ спокойно Савельичъ.

Оберъ-секретарь продолжалъ:

«Мундиръ изъ тонкаго зеленого сукна, на семь рублей.

«Штаны бѣлые суконныя, на пять рублей.

«Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ Голландскихъ съ манжетами, на десять рублей.

«Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною . . . .

— Что за вранье? — прервалъ Пугачевъ. Какое мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ манжетами?

Савельичъ крикнулъ и сталъ объясняться. «Это, батюшка, изволишь видѣть, реестръ барскому добру, раскраденному злодѣями» . . . .

— Какими злодѣями? — спросилъ грозно Пугачевъ.

«Выновать? объяснись» отвѣчалъ Савельичъ.

«Злодѣи не злодѣи, а твои ребята, таки пошарили, да порастаскали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать.»

— Дочитывай — сказалъ Пугачевъ. Секретарь продолжалъ :

«Одѣяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, 40 руб.

«Еще зайчій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворѣ, 15 рублей.

— Это что еще! — вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку. Онъ хотѣлъ - было пуститься опять въ объясненія; но Пугачевъ его прервалъ: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками?» вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ ее въ лице Савельичу. «Глупый старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты должень, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими слушниками... Заячій тулупъ! Я-те дамъ заячій тулупъ! Да знаешь ли ты, что я съ тебя живаго кожу велю содрать на тулупы?»

— Какъ изволишь, — отвѣчалъ Савельичъ; — а я человекъ подневольный, и за барское добро должень отвѣчать.

Пугачевъ былъ видно въ припадкѣ великодушія. Онъ отворотился и отѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабрицъ и старшины послѣдовали за нимъ. Шайка выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.

Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ употребить оное въ пользу; но мудрое намѣреніе ему не удалось. Я сталь-было его бра-

нить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смѣха. «Смѣйся, сударь» отвѣчалъ Савельичъ; «смѣйся; а какъ придется намъ съизнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смѣшно ли будетъ.»

Я спѣшилъ въ домъ священника увидѣться съ Марьей Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальнымъ извѣстіемъ. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемена въ ея лицѣ поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоялъ я передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утѣшали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе бѣдной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсиліе утѣшали меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Облеченный властію отъ самозванца, предводительствуя въ крѣпости, гдѣ оставалась несчастная дѣвушка — невинный предметъ его ненависти, онъ могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя? Оставалось одно средство: я рѣшился тотъ же часъ отправиться въ Оренбургъ, дабы торопить освобожденіе Бѣлогорской крѣпости, и по возмож-

Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку. Онъ хотѣлъ - было пуститься опять въ объясненія; но Пугачевъ его прервалъ: «Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками?» . вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ ее въ лице Савельичу. «Глупый старикъ! Ихъ обобрали: экая бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушниками.... Заячій тулупъ! Я-те дамъ заячій тулупъ! Да знаешь ли ты, что я съ тебя живаго кожу велю содрать на тулупы?»

— Какъ изволишь, — отвѣчалъ Савельичъ; — а я человекъ подневольный, и за барское добро долженъ отвѣчать.

Пугачевъ былъ видно въ припадкѣ великодушія. Онъ отворотился и отѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабринъ и старшины послѣдовали за нимъ. Шайка выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.

Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ употребить оное въ пользу; но мудрое намѣреніе ему не удалось. Я сталь-было его бра-

нить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смѣха. «Смѣйся, сударь» отвѣчалъ Савельичъ; «смѣйся; а какъ придется намъ съизнова заводитья всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смѣшно ли будетъ.»

Я спѣшилъ въ домъ священника увидѣться съ Марьей Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальнымъ извѣстіемъ. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемена въ ея лицѣ поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоялъ я передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утѣшали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе бѣдной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ мятежниковъ, еобетвенное мое безсиліе устрашало меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Облеченный властію отъ самозванца, предводительствуя въ крѣпости, гдѣ оставалась несчастная дѣвушка — невинный предметъ его ненависти, онъ могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя? Оставалось одно средство: я рѣшился тотъ же часъ отправиться въ Оренбургъ, дабы торопить освобожденіе Бѣдогорской крѣпости, и по возмож-

ности тому содѣйствовать. Я простился съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталъ уже своею женою. Я взялъ руку бѣдной дѣвушки и поцеловалъ ее, орошая слезами. «Прощайте» говорила мнѣ попадья, провожая меня; «прощайте, Петръ Андреичъ. Авось, увидимся въ лучшее время. Не забывайте насъ и пишите къ намъ почаще. Бѣдная Марья Ивановна, кромѣ васъ, не имѣетъ теперь ни утѣшенія, ни покровителя.

Вышедь на площадь, я остановился на минуту, взглянулъ на висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъ крѣпости и пошелъ по Оренбургской дорогѣ, сопровождаемый Савельичемъ, который отъ меня не отставалъ.

Я шель занятый своими размышленіями, какъ вдругъ услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся; вижу: изъ крѣпости скачетъ казакъ, держа Башкирскую лошадь въ поводья и дѣлая издали мнѣ знаки. Я остановился, и вскорѣ узналъ нашего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ съ своей лошади и сказалъ, отдавая мнѣ поводья другой: «Ваше благородіе! Отецъ нашъ вамъ жалуетъ лошадь и шубу съ своего плеча (къ сѣдау привязанъ былъ овчинный тулупъ). Да еще» — примолвилъ запинаясь урядникъ — «жалуетъ онъ вамъ . . . . полтину денегъ . . . . да я растерялъ ее

дорогою : простите великодушно.» Савельичъ посмотрѣлъ на него косо и проворчалъ : Растерялъ дорогою ! А что же у тебя побрякиваетъ за пазухой ? Безсовѣстный ! — «Что у меня за пазухой-то побрякиваетъ?» возразилъ урядникъ, ни мало не смутясь. «Богъ съ тобою, старинушка ! Это бренчить уздечка, а не полтина.» Добро, — сказалъ я, прерывая споръ. Благодарю отъ меня того, кто тебя прислалъ ; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратномъ пути, и возьми себѣ на водку. «Очень благодаренъ, ваше благородіе» отвѣчалъ онъ, поворачивая свою лошадь ; «вѣчно за васъ буду Бога молить.» При сихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, держа съ одной рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду.

Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за собою Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь» сказалъ старикъ, «что я не даромъ подалъ мошеннику челобитье : вору-то стало совѣстно. Хоть Башкирская долговязая кляча да овчинный тулупъ не стоятъ и половины того, что они, мошенники, у насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ пожаловать ; да все же пригодится, а съ лихой собаки хоть шерсти клокъ.»



## ГЛАВА X.

## ОСАДА ГОРОДА.

—

Занавь луга и горы,  
Съ вершины, какъ орелъ, бросаю на градъ  
огнь взоры.  
За станомъ повелѣлъ соорудить раскатъ,  
И въ нежъ, перуны скривъ, въ нощи привести  
подъ градъ.

*Херасковъ.*

Приближаясь къ Оренбургу, увидѣли мы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укрѣленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные вывозили въ тележкахъ соръ, наполнявшій ровъ; другіе лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпичъ и чинили городскую стѣну. У воротъ часовые остановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ услышалъ, что я ѣду изъ Бѣло-

горской крѣпости, то и повель меня прямо въ домъ генерала.

Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ яблони, обнаженные дыханіемъ осени, и, съ помощію стараго садовника, бережно ихъ укутывалъ теплой соломой. Лице его изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ обрадовался, и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель. Я рассказалъ ему все. Старикъ слушалъ меня со вниманіемъ и между тѣмъ отрѣзывать сухія вѣтви. «Бѣдный Мироновъ!» сказалъ онъ, когда кончилъ я свою печальную повѣсть. «Жаль его: хорошій былъ офицеръ; и мадамъ Мироновъ добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвѣчалъ, что она осталась въ крѣпости на рукахъ у попады. «Ай, ай, ай! замѣтилъ генераль. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойниковъ никакъ не лезя положиться. Что будетъ съ бѣдной дѣвушкою?» Я отвѣчалъ, что до Бѣлогорской крѣпости недалеко и что вѣроятно его превосходительство не замедлитъ выслать войско для освобожденія бѣдныхъ ея жителей. Генераль покачалъ головою съ видомъ недовѣрчивости. «Посмотримъ, посмотримъ» сказалъ онъ. «Объ этомъ мы еще успѣемъ потолковать. Прошу ко мнѣ пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будетъ

военный совѣтъ. Ты можешь намъ дать вѣрныя свѣдѣнія о бездѣльникѣ Пугачевѣ и объ его войскѣ. Теперь покамѣсть поди отдохни.

Я пошелъ на квартиру, мнѣ отведенную, гдѣ Савельичъ уже хозяйничалъ, и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать назначеннаго времени. Читатель легко себѣ представить, что я не преминулъ явиться на совѣтъ, долженствовавшій имѣть такое вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже былъ у генерала.

Я засталъ у него одного изъ городскихъ чиновниковъ, помнится, директора таможи, толстаго и румянаго старичка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ сталъ спрашивать меня о судьбѣ Ивана Кузмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою рѣчь дополнительными вопросами и нравоучительными замѣчаніями, которыя, если и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ искусствѣ, то по крайней мѣрѣ обнаруживали сметливость и природный умъ. Между тѣмъ собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлись и всѣмъ разнесли по чашкѣ чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и пространно, въ чемъ состояло дѣло: «Теперь, господа,» — продолжалъ онъ — «надлежитъ рѣшить, какъ намъ дѣйствовать противу мятежниковъ: наступательно, или оборонительно? Каждый изъ оныхъ способовъ имѣетъ свою выгоду

и невыгоду. Дѣйствиѣ наступательное представляетъ болѣе надежды на скорѣйшее истребленіе непрія-теля; дѣйствиѣ оборонительное болѣе вѣрно и безопасно . . . И такъ начнемъ собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная съ младшихъ по чину. Г. прапорщикъ!» продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ «извольте объяснить намъ ваше мнѣніе.»

Я всталъ, и, въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильнаго оружія.

Мнѣніе мое было принято чиновниками съ явною неблагоклонностію. Они видѣли въ немъ опрометчивость и дерзость молодаго человѣка. Поднялся ропоть, и я услышалъ явственно слово: молоко-сось, произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генераль обратился ко мнѣ и сказалъ съ улыбкою: «Г. прапорщикъ! Первые голоса на военныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собраніе голосовъ. Г. коллежскій совѣтникъ! скажите намъ ваше мнѣніе!»

Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно допилъ третью свою чашку, значительно разбавленную ромомъ, и отвѣчалъ генералу: Я думаю, ваше

превосходительство, что не должно дѣйствовать ни наступательно, ни оборонительно.

«Какъ-же такъ, господинъ коллежскій совѣтникъ?» возразилъ изумленный генераль. «Другихъ способовъ тактика не представляетъ: движение оборонительное, или наступательное»...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

«Э хе, хе! мнѣніе ваше весьма благоразумно. Движенія подкупательныя тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашимъ совѣтомъ. Можно будетъ обѣщать за голову бездѣльника ... рублей семьдесятъ или даже сто ... изъ секретной суммы» ...

— И тогда, прервалъ таможенный директоръ, будь я Киргизскій бараць, а не коллежскій совѣтникъ, если эти воры не выдадутъ намъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и по ногамъ.

«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ» отвѣчалъ генераль. «Однако надлежитъ во всякомъ случаѣ предпринять и военныя мѣры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.»

Всѣ мнѣнія оказались противными моему. Всѣ чиновники говорили о ненадежности войскъ, о невѣрности удачи, объ осторожности, и тому подобномъ. Всѣ полагали, что благоразумнѣе оставаться подъ прикрытіемъ пушекъ за крѣпкой каменной стѣною, нежели на открытомъ полѣ испытывать

счастіе оружія. Наконецъ генераль, выслушавъ всѣ мнѣнія, вытряхнулъ пепель изъ трубки и произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей стороны, я совершенно съ мнѣніемъ господина прапорщика согласенъ: ибо мнѣніе сіе основано на всѣхъ правилахъ здоровой тактики, которая всегда почти наступательныя движенія оборонительнымъ предпочитаетъ.»

Тутъ онъ остановился, и сталъ набивать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотрѣлъ на чиновниковъ, которые между собою перешептывались съ видомъ неудовольствія и безпокойства.

«Но, государи мои» продолжалъ онъ выпустивъ, вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыму «я не смѣю взять на себя столь великую отвѣтственность, когда дѣло идетъ о безопасности ввѣренныхъ мнѣ провинцій Ея Императорскимъ Величествомъ, Всемилостивѣйшей моею Государыней. И такъ я соглашюсь съ большинствомъ голосовъ, которое рѣшило, что всего благоразумнѣе и безопаснѣе внутри города ожидать осады, а нападенія непріятели силой артиллеріи и (буде окажется возможнымъ) вылазками — отражать.»

Чиновники въ свою очередь насмѣшливо поглядѣли на меня. Совѣтъ разошелся. Я не могъ не

сожалѣть о слабости почтеннаго воина, который наперекоръ собственному убѣжденію, рѣшился слѣдовать мнѣніямъ людей несвѣдущихъ и неопытныхъ.

Спустя нѣсколько дней послѣ сего знаменитаго совѣта, узнали мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщанію, приблизился къ Оренбургу. Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ въдесятеро увеличилось со времени послѣдняго приступа, коему былъ я свидѣтель. При нихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ Оренбургскихъ, и чуть не плакалъ отъ досады.

Не стану описывать Оренбургскую осаду, которая принадлежитъ исторіи, а не семейственнымъ запискамъ. Скажу вкратцѣ, что сія осада, по неосторожности мѣстнаго начальства, была гибельна для жителей, которые претерпѣли голодъ и всевозможныя бѣдствія. Легко можно себѣ вообразить, что жизнь въ Оренбургѣ была самая несносная. Всѣ съ уныніемъ ожидали рѣшенія своей участи; всѣ охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дѣлѣ была ужасна. Жители привыкли къ ядрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы; даже приступы Пугачева ужъ не привлекали общаго любопытства. Я

умиралъ со скуки. Время шло. Писемъ изъ Бѣлогорской крѣпости я не получалъ. Всѣ дороги были отрѣзаны. Разлука съ Марьей Ивановной становилась мнѣ нестерпима. Незвѣстность о ея судьбѣ меня мучила. Единственное развлеченіе мое состояло въ наѣздничествѣ. По милости Пугачева, я имѣлъ добрую лошадь, съ которой дѣлился скудной пищею, и на которой ежедневно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ Пугачевскими наѣздниками. Въ этихъ перестрѣлкахъ перевѣсъ былъ обыкновенно на сторонѣ злодѣевъ сытыхъ, пьяныхъ и доброконныхъ. Тощая городова конница не могла ихъ одолѣть. Иногда выходила въ поле и наша голодная пѣхота; но глубина снѣга мѣшала ей дѣйствовать удачно противу разсѣянныхъ наѣздниковъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала, а въ полѣ вязла и не двигалась по притивѣ изнуренія лошадей. Таковъ былъ образъ нашихъ военныхъ дѣйствій! И вотъ что Оренбургскіе чиновники называли осторожностію и благоразуміемъ!

Однажды, когда удалось намъ какъ-то разсѣять и прогнать довольно густую толпу, наѣхалъ я на казака, отставшаго отъ своихъ товарищей; я готовъ былъ уже ударить его своею Турецкою саблею, какъ вдругъ онъ снялъ шапку и закричалъ: «Здравствуйте, Петръ Андреичъ. Какъ васъ Богъ милуетъ?»

Я взглянулъ, и узналъ нашего урядника. Я не-  
сказанно ему обрадовался. Здравствуй, Максимычъ,  
— сказалъ я ему. Давно ли изъ Бѣлогорской?

«Недавно, батюшка Петръ Андреичъ; только  
вчера воротился. У меня есть къ вамъ письмецо.»

— Гдѣ жъ оно? — вскричалъ я, весь такъ и  
вспыхнувъ.

«Со мною» отвѣчалъ Максимычъ, положивъ руку  
за пазуху. «Я обѣщался Палашѣ ужъ какъ-нибудь  
да вамъ доставить. Тутъ онъ подаль мнѣ сложен-  
ную бумажку и тотчасъ ускакалъ. Я развернулъ  
ее и съ трепетомъ прочелъ слѣдующія строки:

«Богу угодно было лишить меня вдругъ отца  
и матери: не имѣю на землѣ ни родни, ни по-  
кровителей. Прибѣгаю къ вамъ, зная, что вы всегда  
желали мнѣ добра и что вы всякому человѣку  
готовы помочь. Молю Бога, чтобъ это письмо  
какъ нибудь до васъ дошло! Максимычъ обѣщалъ  
вамъ его доставить. Палаша слышала также отъ  
Максимыча, что васъ онъ часто издали видитъ на  
вылазкахъ, и что вы совсѣмъ себя не бережете  
и не думаете о тѣхъ, которые за васъ со слезами  
Бога молятъ. Я долго была больна; а когда выздоровѣла,  
Алексѣй Ивановичъ, который командуетъ у  
насъ на мѣстѣ покойнаго батюшки, принудилъ  
отца Герасима выдать меня ему, застрашавъ Пугаче-  
вымъ. Я живу въ нашемъ домѣ подъ карауломъ.

Алексѣй Ивановичъ принуждаетъ меня выйти за него замужъ. Онъ говоритъ, что спасъ мнѣ жизнь, потому что прикрылъ обманъ Акулины Памфиловны, которая сказала злодѣямъ, будто бы я ея племянница. А мнѣ легче было бы умереть, нежели сдѣлаться женою такого человѣка, каковъ Алексѣй Ивановичъ. Онъ обходится со мною очень жестоко, и грозитъ, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ меня въ лагерь къ злодѣю, и съ вами-де тоже будетъ, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексѣя Ивановича дать мнѣ подумать. Онъ согласился ждать еще три дня, а коли черезъ три дня за него не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюшка Петръ Андреичъ! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь за меня бѣдную. Упросите генерала и всѣхъ командировъ прислать къ намъ поскорѣе сикурсу, да прѣзжайте сами, если можете. Остаюсь вамъ покорная бѣдная сирота

Марья Миронова.»

Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошелъ. Я пустился въ городъ, безъ милосердія прищпоривая бѣднаго моего коня. Дорогою придумывалъ я и то и другое для избавленія бѣдной дѣвушки, и ничего не могъ выдумать. Приѣхавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу, и опрометью къ нему вбѣжалъ.

Генераль ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, онъ остановился. Вѣроятно, видъ мой поразилъ его; онъ заботливо освѣдомился о причинѣ моего послѣшняго прихода. Ваше превосходительство, сказалъ я ему прибѣгаю къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите мнѣ въ моей просьбѣ: дѣло идетъ о счастіи всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?» спросилъ изумленный старикъ. «Что я могу для тебя сдѣлать? Говори.»

— Ваше превосходительство, прикажите взять мнѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ, и пустите меня очистить Бѣлогорскую крѣпость.

Генераль глядѣлъ на меня пристально, полагая, вѣроятно, что я съ ума сошелъ (въ чемъ почти и не ошибался).

«Какъ это? Очистить Бѣлогорскую крѣпость?» сказалъ онъ наконецъ.

— Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отвѣчалъ я съ жаромъ. Только отпустите меня.

«Нѣтъ, молодой человекъ» — сказалъ онъ, качая головою. «На такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко будетъ отрѣзать васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ стратегическимъ пунктомъ и получить надъ вами совершенную побѣду. Пресѣченная коммуникаціа»....

Я испугался, увидя его завлеченнаго въ военныя разсужденія, и спѣшилъ его прервать. Дочь капитана Миронова, сказалъ я ему, пишетъ ко мнѣ письмо; она проситъ помощи; Швабринъ принуждастъ ее выйти за него замужъ.

«Неужь - то? О, этотъ Швабринъ превеликій Schelm, и если попадетса ко мнѣ въ руки, то я велю его судить въ 24 часа, и мы разстрѣляемъ его на парашетѣ крѣпости! Но покамѣстъ надобно взять терпѣніе» . . . .

— Взять терпѣніе! — вскричалъ я внѣ себя. А онъ между тѣмъ женится на Марьѣ Ивановнѣ! . .

«О!» возразилъ генераль. «Это еще не бѣда: лучше ей быть, покамѣстъ, женою Швабрина; онъ теперь можетъ оказать ей протекцію; а когда его разстрѣляемъ, тогда, Богъ дастъ, сыщутся ей и женишки. Миленькія вдовушки въ дѣвкахъ не сидятъ; то есть, хотѣлъ я сказать, что вдовушка скорѣе найдетъ себѣ мужа, нежели дѣвица.»

— Скорѣе соглашусь умереть, сказалъ я въ бѣшенствѣ, нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!» сказалъ старикъ. «Теперь понимаю: ты видно въ Марью Ивановну влюбленъ. О, дѣло другое! Бѣдный мальчѣй! Но все же я никакъ не могу дать тебѣ роту солдатъ и полсотни казаковъ. Эта экспедиція была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою отвѣтственность.»

Я потушилъ голову; отчаяніе мною овладѣло. Вдругъ мысль мелькнула въ головѣ моей: въ чемъ она состояла, читатель увидитъ изъ слѣдующей главы, какъ говорятъ старинные романисты.



## ГЛАВА XI.

## МЯТЕЖНАЯ СЛОВОДА.

—

Въ ту пору лень бмалъ сытъ, хоть среду онъ свирѣнь.  
«Зачѣмъ пожаловать изволимъ въ мой вертепъ!»  
Спросилъ онъ ласково.

*А. Сумароковъ.*

Я оставилъ генерала и поспѣшилъ на свою квартиру. Савельичъ встрѣтилъ меня съ обыкновеннымъ своимъ увѣщаніемъ. «Охота тебѣ, сударь, перевѣдываться съ пьяными разбойниками! Боярское ли это дѣло? Неравенъ часъ: ни за что пропадешь. И добро бы ужъ ходилъ ты на Турку или на Шведа, а то грѣхъ и сказать на кого.»

Я прервалъ его рѣчь вопросомъ: сколько у меня всего-на-все денегъ? «Будетъ съ тебя» отвѣчалъ онъ съ довольнымъ видомъ. «Мошеники какъ тамъ ни шарили, а я все-таки успѣлъ утаить.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный вязаный кошелекъ, полный серебра. Ну,

Савельичъ, сказалъ я ему, отдай же мнѣ теперь половину; а остальное возьми себѣ. Я ѣду въ Бѣлогорскую крѣпость.

«Батюшка Петръ Андреичъ!» сказалъ добрый дядька дрожащимъ голосомъ. «Побойся Бога; какъ тебѣ пускаться въ дорогу въ нынѣшнее время, когда никуда проѣзду нѣтъ отъ разбойниковъ! Пожалѣй ты хоть своихъ родителей, коли самъ себя не жалѣешь. Куда тебѣ ѣхать? Зачѣмъ? Погоди маленько: войска придуть, переловятъ мошенниковъ; тогда поѣзжай себѣ хоть на всѣ четыре стороны.»

Но намѣреніе мое было твердо принято. Поздно разсуждать, отвѣчалъ я старику. Я долженъ ѣхать, и не могу не ѣхать. Не тужи, Савельичъ: Богъ милостивъ; авось увидимся! Смоди же, не совѣстись и не скупись. Покупай, что тебѣ будетъ нужно хоть въ-три-дорога. Деньги эти я тебѣ дарю. Если черезъ три дня я не ворочусь . . . .

«Что вы это, сударь?» прервалъ меня Савельичъ. «Чтобъ я тебя пустилъ одного! Да этого и во снѣ не проси. Коли ты ужъ рѣшился ѣхать, то я хоть пѣшкомъ, да пойду за тобой; я тебя не покину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидѣть за каменной стѣною! Да развѣ я съ ума сошелъ? Воля твоя, сударь, а я отъ тебя не отстану.»

Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить было нечего, и позволилъ ему приготовляться въ дорогу. Черезъ полчаса я сѣлъ на своего добраго коня, а Савельичъ на тощую и хромую клячу, которую даромъ отдалъ ему одинъ изъ городскихъ жителей, не имѣя болѣе средствъ кормить ее. Мы прѣѣхали къ городскимъ воротамъ; караульные насъ пропустили; мы выѣхали изъ Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шелъ мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снѣгомъ; но по всей степи видны были конскіе слѣды, ежедневно обновляемые. Я ѣхалъ крупной рысью. Савельичъ едва могъ слѣдовать за мною издали, и кричалъ мнѣ поминутно: «Потише, сударь, ради Бога, потише! Проклятая кляченка моя не успѣваетъ за твоимъ долгоногимъ бѣсомъ. Куда слѣпнишь? Добро бы на пирь, а то подь обухъ, того и гляди... Петръ Андреичъ... батюшка Петръ Андреичъ!... Господи Владыка, пропадетъ барское дитя.»

Вскорѣ засверкали Бердскіе огни. Мы подѣѣхали къ оврагамъ, естественнымъ укрѣпленіямъ слободы. Савельичъ отъ меня не отставалъ, не прерывая жалобныхъ своихъ моленій. Я надѣялся объѣхать слободу благополучно, какъ вдругъ увидѣлъ въ сумракѣ прямо передъ собой человѣкъ

пять мужиковъ, вооруженныхъ дубинами: это былъ передовой караулъ Пугачевского пристанища. Насъ окликали. Не зная пароля, я хотѣлъ молча проѣхать мимо ихъ; но они меня тотчасъ окружили, и одинъ изъ нихъ схватилъ лошадь мою за узду. Я выхватилъ саблю и ударилъ мужика по головѣ; шапка спасла его, однако онъ зашатался и выпустилъ изъ рукъ узду. Прочіе смутились и отбѣжали; я воспользовался этой минутою, прищпорилъ лошадь и поскакалъ.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня отъ всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидѣлъ я, что Савельича со мною не было. Бѣдный старикъ на своей хромой лошади не могъ ускакать отъ разбойниковъ. Что было дѣлать? Подождавъ его нѣсколько минутъ и удостовѣрившись въ томъ, что онъ задержанъ, я повертилъ лошадь и отправился его выручать.

Подѣзжая къ оврагу, услышалъ я издали шумъ, крики и голосъ моего Савельича. Я поѣхалъ скорѣе, и вскорѣ очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня нѣсколько минутъ тому назадъ. Савельичъ находился между ними. Они стащили старика съ его клячи, и готовились вязать. Прибытіе мое ихъ обрадовало. Они съ крикомъ бросились на меня и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому главный,

объявилъ намъ, что онъ сейчасъ поведетъ насъ къ Государю. «А нашъ батюшка» прибавилъ онъ, «воленъ приказать: сейчасъ ли васъ повѣсить, али дожждаться свѣту Божія.» Я не противился; Савельичъ послѣдовалъ моему примѣру, и караульные повели насъ съ торжествомъ.

Мы перебрались черезъ оврагъ и вступили въ слободу. Во всѣхъ избахъ горѣли огни. Шумъ и крики раздавались вездѣ. На улицѣ я встрѣтилъ множество народу; но никто въ темнотѣ насъ не замѣтилъ и не узналъ во мнѣ Оренбургскаго офицера. Насъ привели прямо къ избѣ, стоявшей на углу перекрестка. У воротъ стояло нѣсколько винныхъ бочекъ и двѣ пушки. «Вотъ и дворець» сказалъ одинъ изъ мужиковъ; «сейчасъ объ васъ доложимъ.» Онъ вошелъ въ избу. Я взглянулъ на Савельича; старикъ крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго, наконецъ мужикъ воротился и сказалъ мнѣ: «Ступай; нашъ батюшка велѣлъ впустить офицера.»

Я вошелъ въ избу, или во дворець, какъ называли ее мужики. Она освѣщена была двумя салными свѣчами, а стѣны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столъ, рукомоиникъ на веревочкѣ, полотенце на гвоздѣ, ухватъ въ углу, и широкій шестокъ, уставленный горшками — все было какъ въ обыкновенной избѣ. Пугачевъ сидѣлъ

подъ образами, въ красномъ кафтанѣ, въ высокой шапкѣ, и важно подбочась. Около него стояло нѣсколько изъ главныхъ его товарищей, съ видомъ притворнаго подобострастія. Видно было, что вѣсть о прибытіи офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ сильное любопытство, и что они приготовились встрѣтить меня съ торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляду, Поддѣльная важность его вдругъ исчезла. «А, ваше благородіе!» сказалъ онъ мнѣ съ живостію. «Какъ поживаешь? Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?» Я отвѣчалъ, что ѣхалъ по своему дѣлу, и что люди его меня остановили. «А по какому дѣлу?» спросилъ онъ меня. Я не зналъ, что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться при свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ и велѣлъ имъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, которые не тронулись съ мѣста. «Говори смѣло при нихъ» сказалъ мнѣ Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я взглянулъ наискось на наперсниковъ самозванца. Одинъ изъ нихъ, щедушный и сгорбленный старичекъ съ сѣдою бородкою, не имѣлъ въ себѣ ничего замѣчательнаго, кромѣ голубой ленты, надѣтой чрезъ плечо по сѣрому армяку. Но вѣкъ не забуду его товарища. Онъ былъ высокаго росту, дородень и широкоплечъ, и показался мнѣ лѣтъ сорока пяти. Густая рыжая

борода, сѣрые сверкающіе глаза, носъ безъ ноздрей, и красноватая пятна на лбу и на щекахъ, придавали его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ былъ въ красной рѣбахъ, въ Киргизскомъ халатѣ и въ казацкихъ шароварахъ. Первой (какъ узналъ я послѣ) былъ бѣглый капраль Бѣлобородовъ; второй Аванасій Соколовъ (прозванный Хлопушей), ссыльный преступникъ, три раза бѣжавшій изъ Сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я такъ нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори: по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ Оренбурга?»

Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показалось, что Провидѣніе, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ случай привести въ дѣйство мое намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться, и, не успѣвъ обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пугачева:

— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?» закричалъ онъ. «Будь онъ семи пяденъ во лбу, а отъ суда моего не уйдетъ. Говори: кто виноватый?»

— Швабринъ виноватый — отвѣчалъ я. Онъ держитъ въ неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, у попады, и насильно хочетъ на ней жениться.

«Я проучу Швабрина!» сказалъ грозно Пугачевъ. «Онъ узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я его повѣшу.»

«Прикажи слово молвить» сказалъ Хлопуша хриплымъ голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты крѣпости, а теперь торопишься его вѣшать. Ты ужь оскорбилъ казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не путай же дворянъ, казня ихъ по первому наговору.»

«Нечего ихъ ни жалѣть, ни жаловать!» сказалъ старичекъ въ голубой лентѣ. «Швабрина казнить не бѣда; а не худо и господина офицера допросить порядкомъ: зачѣмъ изволилъ пожаловать. Если онъ тебя Государемъ не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же онъ до сегодняшняго дня сидѣлъ въ Оренбургѣ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его въ приказную, да запалить тамъ огоньку: мнѣ сдается, что его милость подосланъ къ намъ отъ Оренбургскихъ командировъ.»

Логика стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему

тѣлу, при мысли, въ чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замѣтилъ мое смущеніе. «Ась, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнѣ подмигивая. «Фельдмаршалъ мой, кажется, говорить дѣло. Какъ ты думаешь?»

Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что я нахожусь въ его власти и что онъ воленъ поступать со мною, какъ ему будетъ угодно.

«Добро» сказалъ Пугачевъ. «Теперь скажи, въ какомъ состояніи вашъ городъ.

— Слава Богу — отвѣчалъ я; все благополучно.

«Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. «А народъ мретъ съ голоду!»

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присяги, сталъ увѣрять, что все это пустые слухи, и что въ Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.

«Ты видишь» подхватилъ старичекъ, «что онъ тебя въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за честь; а его милость увѣряетъ, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повѣсить, то ужь на той висѣлицѣ повѣсь и этого молодца, чтобъ никому не было завидно.»

Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева. Къ счастью, Хлопуша сталъ противорѣ-

чить своему товарищу. «Полно, Наумычъ,» сказалъ онъ ему. «Тебѣ бы все душить да рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Развѣ мало крови на твоей совѣсти?»

— Да ты что за угодникъ? — возразилъ Бѣлобородовъ. У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно,» отвѣчалъ Хлопуша, «и я грѣшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костливый кулакъ и, засуча рукава, открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой Христіанской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепуты да въ темномъ мѣсу, не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабьимъ наговоромъ.»

Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рванья ноздри!» . . .

— Что ты тамъ шепчешь, старьей хрычъ? — закричалъ Хлопуша. Я тебѣ дамъ рванья ноздри; погоди, придетъ и твое время; Богъ дастъ, и ты щипцевъ понюхаешь . . . . А покамѣсть смотри, чтобъ я тебѣ бородинки не вырвалъ!

«Господа енаралы!» — провозгласилъ важно Пугачевъ; «полно вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ и всѣ Оренбургскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладной: бѣда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»

Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходимость переимѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ: Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за лошадь и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогѣ.

Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился. «Долгъ платежемъ красенъ,» сказалъ онъ, мигая и прищуриваясь. «Разскажи-ка мнѣ теперь, какое тебѣ дѣло до той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невѣста моя — отвѣчалъ я Пугачеву, видя благопріятную переимѣну погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невѣста!» закричалъ Пугачевъ. «Что жъ ты прежде не сказалъ? Да мы тебя женимъ, и на свадьбѣ твоей попируемъ! «Потомъ обращаясь къ Бѣлобородову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера мудренѣе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.»

Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но дѣлать было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочери хозяина избы, накрыли столъ бѣлой скатер-

тью, принесли хлѣба, ухи и нѣсколько штюфтовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его страшными товарищами.

Оргія, коею я былъ невольнымъ свидѣтелемъ, продолжалась до глубокой ночи. Наконецъ хмѣль началъ одолавать собесѣдниковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на своемъ мѣстѣ, товарищи его встали и дали мнѣ знакъ оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ съ ними. По распоряженію Хлопуши, караульный отвелъ меня въ приказную избу, гдѣ я нашелъ и Савельича, и гдѣ меня оставили съ нимъ взаперти. Дядька былъ въ такомъ изумленіи при видѣ всего, что происходило, что не сдѣлалъ мнѣ никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ, и долго вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣлъ, а я предался размышленіямъ, которыя во всю ночь ни на одну минуту не дали мнѣ задремать.

Поутру пришли меня звать отъ имени Пугачева. Я пошелъ къ нему. У воротъ его стояла кибитка, запряженная тройкою Татарскихъ лошадей. Народъ толпился на улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтилъ я Пугачева: онъ былъ одѣтъ подорожному, въ шубѣ и въ Киргизской шапкѣ. Вчерашніе собесѣдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противорѣчилъ всему, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ ве-

сло со мною поздоровался и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ кибитку.

Мы усѣлись. «Въ Бѣлогорскую крѣпость! сказалъ Пугачевъ широкоплечему Татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ, кибитка полетѣла. . . .

«Стой! стой!» раздался голосъ слишкомъ мнѣ знакомый — и я увидѣлъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу. Пугачевъ велѣлъ остановиться. «Батюшка Петръ Андреичъ!» кричалъ дядька. «Не покинь меня на старости лѣтъ посреди этихъ мошен» . . . . — А, старый хрычъ! сказалъ ему Пугачевъ. Опять Богъ далъ свидѣться. Ну, садись на облучекъ.

«Спасибо, Государь, спасибо, отецъ родной!» говорилъ Савельичъ усаживаясь. «Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здравствовать за то, что меня старика призрѣлъ и успокоилъ. Вѣкъ за тебя буду Бога молить, а о заячемъ тулупѣ и упоминать ужь не стану.»

Этотъ заячій тулупъ могъ наконецъ не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастью, самозванецъ или не разслышалъ или пренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ. Лошади поскакали; народъ на улицѣ останавливался и кланялся въ-поясъ. Пугачевъ кивалъ головою на обѣ стороны. Черезъ минуту мы выѣхали изъ слободы и помчались по гладкой дорогѣ.

Легко можно себѣ представить, что чувствовалъ я въ эту минуту. Черезъ нѣсколько часовъ долженъ я былъ увидѣться съ той, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ себѣ минуту нашего соединенія . . . Я думалъ также и о томъ человѣкѣ, въ чьихъ рукахъ находилась моя судьба, и который, по странному стеченію обстоятельствъ, таинственно былъ со мною связанъ. Я вспоминалъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабринъ могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ провѣдать истину и другимъ образомъ . . . Тогда что станется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробѣгалъ по моему тѣлу и волоса становились дыбомъ . . .

Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, обратясь ко мнѣ съ вопросомъ:

«О чемъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?»

— Какъ не задуматься, — отвѣчалъ я ему. Я офицеръ и дворянинъ; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня ѣду съ тобой въ одной кибиткѣ, и счастье всей моей жизни зависитъ отъ тебя.

«Что жъ?» спросилъ Пугачевъ «Страшно тебѣ?»

Я отвѣчалъ, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ, я надѣялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

«И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самозванецъ. «Ты видѣлъ, что мои ребята смотрѣли на тебя косо; а старикъ и сегодня настаивалъ на томъ, что ты шпионъ, и что надобно тебя пытать и повѣсить; но я не согласился» прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, чтобъ Савельичъ и Татаринъ не могли его услышать — «помня твой стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не такой еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.»

Я вспомнилъ взятіе Бѣлогорской крѣпости; но не почелъ нужнымъ его оспаривать, и не отвѣчалъ ни слова.

«Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?» спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.

— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудно; нечего сказать: даль ты себя знать.

Лице самозванца изобразило довольное самолюбіе. «Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. «Я воюю хоть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: Прусскій король могъ ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна. Самъ какъ ты думаешь, сказалъ я ему, управился ли бы ты съ Фридерикомъ?

«Съ Федоромъ Федоровичемъ? А какъ же нѣтъ? Съ вашими енаралами вѣдь я же управляюсь; а

они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ пойду на Москву.»

— А ты полагаешь итти на Москву?

Самозванецъ нѣсколько задумался, и сказалъ вполголоса: «Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро; при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою.»

— То-то! — сказалъ я Пугачеву. Не лучше ли тебѣ отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію Государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся. «Нѣтъ» отвѣчалъ онъ; «поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь поцарствовалъ же надъ Москвою.»

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ? Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пушки и выпалили!

«Слушай» — сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. «Разкажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ рассказывала старая Калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ-птица, отъ чего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего-на-все только тридцать три года? — Отъ того, батюшка, отвѣ-

чалъ ему воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь; спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: нѣтъ, братъ-воронъ; чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью, а тамъ что Богъ дастъ! — Какова Калмыцкая сказка?»

— Затѣйлива — отвѣчалъ я ему. Но жить убійствомъ и разбоемъ значить по мнѣ клевать мертвечину.

Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ничего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погружаясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню; Савельичъ, дремля, качался на облучкѣ. Кибитка летѣла по гладкому зимнему пути . . . . Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колокольней — и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣпость.



## ГЛАВА XII.

## СИРОТА.

Какъ у нашей у яблоньки  
Ни верхушки нѣтъ, ни отросточекъ;  
Какъ у нашей у хитмяношки  
Ни отца нѣту, ни матери.  
Смарайте-то ее некому,  
Благословить-то ее некому.

*Свадебная пѣсня.*

Кибитка подъѣхала къ крыльцу комендантскаго дома. Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бѣжалъ за нами. Швабринъ встрѣтилъ самозванца на крыльцѣ. Онъ былъ одѣтъ, казакомъ и отпустилъ себѣ бороду. Измѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился; но вскорѣ оправился, протянулъ мнѣ руку, говоря: «И ты нашъ? Давно бы такъ!» — Я отворотился отъ него и ничего не отвѣчалъ.

Сердце мое зануло, когда очутились мы въ давно-знакомой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ покойнаго коменданта, какъ печальная эпитафія прошедшему времени. Пугачевъ сѣлъ на томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузмичъ, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на меня: «Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошелъ ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной своей смѣтливости, онъ, конечно, догадался, что Пугачевъ былъ имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а на меня поглядывалъ съ недовѣрчивостію. Пугачевъ осведомился о состояніи крѣпости, о слухахъ про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругъ спросилъ его неожиданно: «Скажи, братецъ, какую дѣвушку держишь ты у себя подъ карауломъ? Покажи-ка мнѣ ее.»

Швабринъ поблѣднѣлъ какъ мертвый. Государь, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.... Государь, она не подъ карауломъ.... она больна.... она въ свѣтлицѣ лежитъ.

«Веди же меня къ ней» сказалъ самозванецъ, вставая съ мѣста. Отговориться было невозможно.

Швабринъ повелъ Пугачева въ свѣтлицу Марьи Ивановны. Я за ними послѣдовалъ.

Швабринъ остановился на лѣстницѣ. «Государь!» сказалъ онъ. «Вы властны требоватьъ отъ меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ спальню къ женѣ моей.»

Я затрепеталъ. Такъ ты женать! сказалъ я Швабрину, готовясь его растерзать.

«Тише!» прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дѣло. А ты» — продолжалъ онъ, 'обращаясь къ Швабрину — «не умничай, и не ломайся: жена ли она тебѣ, или не жена, а я веду къ ней кого хочу. Ваше благородіе, ступай за мною.»

У дверей свѣтлицы Швабринъ опять остановился и сказалъ прерывающимся голосомъ: «Государь, предупреждаю васъ, что она въ бѣлой горячкѣ, и третій день какъ бредитъ безъ умолку.»

— Отворяй! — сказалъ Пугачевъ.

Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ, и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; замокъ отскочилъ; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянулъ, и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ оборванномъ платѣ, сидѣла Марья Ивановна, блѣдная, худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ кувшинъ воды, накрытый лом-

темъ хлѣба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачевъ посмотрѣлъ на Швабрина, и сказалъ съ горькой усмѣшкою: «Хорошъ у тебя лазареть!» Потомъ подошелъ къ Марьѣ Ивановнѣ: «Скажи мнѣ, голубушка, за что твой мужъ тебя наказываетъ? въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?»

— Мой мужъ! — повторила она. Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда не буду его женою! Я лучше рѣшилась умереть, и умру, если меня не избавятъ.

Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина: «И ты смѣлъ меня обманывать!» сказалъ онъ ему. «Знаешь ли, бездѣльникъ, чего ты достоинъ?»

Швабринъ упалъ на колѣна.... Въ эту минуту презрѣніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти и гнѣва. Съ омерзениемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ-ногахъ бѣлаго казака. Пугачевъ смягчился. «Милую тебя на сей разъ» сказалъ онъ Швабрину! «но знай, что при первой виѣ тебѣ припомнится и эта.» Потомъ обратился онъ къ Марьѣ Ивановнѣ и сказалъ ей ласково: «Выходи, красная дѣвица; дарю тебѣ волю. Я Государь.»

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. Она закрыла лице обѣими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту минуту

очень смѣло въ комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышинею. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы, и мы трое сошли въ гостиную.

«Что, ваше благородіе? сказалъ смѣясь Пугачевъ. «Выручили красную дѣвицу! Какъ думаешь, не послать ли за попомъ, да не заставить ли его обвѣнчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженнымъ отцемъ, Швабринъ дружкой; закутимъ, запьемъ — и ворота запремъ!

Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша предложеніе Пугачева, вышелъ изъ себя. «Государь!» закричалъ онъ въ изступленіи. «Я виноватъ, я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта дѣвушка не племянница здѣшняго попа: она дочь Ивана Миронова, который казненъ при взятіи здѣшней крѣпости.

Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.

— Швабринъ сказалъ тебѣ правду — отвѣчалъ я съ твердостію.

«Ты мнѣ этого не сказалъ,» замѣтилъ Пугачевъ, у коего лице омрачилось.

— Самъ ты разсуди — отвѣчалъ я ему, можно ли было при твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ея бы не спасло!

«И то правда» сказалъ смѣясь Пугачевъ. «Мои пьяницы не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушка-попадья, что обманула ихъ.»

— Слушай, — продолжалъ я, видя его доброе расположеніе. Какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу . . . . Но Богъ видитъ, что жизнию моею радъ бы я заплатить тебѣ за то, что ты для меня сдѣлалъ. Только не требуй того, что противно чести моей и христіанской совѣсти. Ты мой благодѣтель. Доверши какъ началъ: отпусти меня съ бѣдной сиротою, куда намъ Богъ путь укажетъ. А мы, гдѣ бы ты ни былъ и что бы съ тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасеніи грѣшной твоей души.....

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Инь быть по твоему!» сказалъ онъ. «Казнить, такъ казнить, жаловать, такъ жаловать: таковъ мой обычай. Возьми себѣ свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ любовь да совѣтъ!»

Тутъ онъ оборотился къ Швабрину и велѣлъ выдать мнѣ пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластныя ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ какъ остоленѣлый. Пугачевъ отправился осматривать крѣпость. Швабринъ его

сопровождать; а я остался подъ предлогомъ приготовленій къ отъѣзду.

Я побѣжалъ въ свѣтлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто тамъ?» спросила Палаша. Я назвалъся. Милый голосокъ Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей. «Погодите, Андрей Петровичъ. Я переодѣваюсь. Ступайте къ Акулинѣ Панфиловнѣ: я сейчасъ туда же буду.»

Я повиновался и пошелъ въ домъ отца Герасима. И онъ и попадья выбѣжали ко мнѣ на встрѣчу. Савельичъ ихъ уже предупредилъ. «Здравствуйте, Петръ Андреевичъ» говорила попадья. «Привель Богъ опять увидѣться. Какъ поживаете? А мы-то про васъ каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпѣлась безъ васъ, моя голубушка!.. Да скажите, мой отецъ, какъ это вы съ Пугачевымъ-то поладили! Какъ онъ это васъ не укокошилъ? Добро, спасибо злодѣю и за то.» — Полно, старуха, — прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то ври, что знаешь. Нѣсть спасенія во многоглаголаніи. Батюшка Петръ Андреевичъ! войдите, милости просимъ. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня, чѣмъ Богъ послалъ, а между тѣмъ говорила безъ умолку. Она рассказала мнѣ, какимъ образомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать ему Марью Ивановну; какъ Марья Ивановна плакала и не хотѣла съ ними разстаться;

какъ Марья Ивановна имѣла съ нею всегдашнія сношенія черезъ Палашку (дѣвку бойкую, которая и урядника заставляеть плясать по своей дудкѣ); какъ она присовѣтовала Марьѣ Ивановнѣ написать ко мнѣ письмо и прочее. Я въ свою очередь разсказалъ ей вкратцѣ свою исторію. Попъ и попадья крестились, услышавъ, что Пугачеву извѣстенъ ихъ обманъ. «Съ нами сила крестная!» говорила Акулина Панфиловна. «Промчи, Богъ, тучу мимо. Ай, да Алексѣй Иванычъ, нечего сказать: хорошъ гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла съ улыбкою на блѣдномъ лицѣ. Она оставила свое крестьянское платье и одѣта была попржнему, просто и мило.

Я схватилъ ея руку и долго не могъ вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали отъ полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что намъ было не до нихъ, и оставили насъ. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна разсказала мнѣ все, что съ нею ни случилось съ самаго взятія крѣпости; описала мнѣ весь ужасъ ея положенія, всѣ испытанія, которымъ подвергалъ ее гнусный Швабринъ. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконецъ я сталъ объяснять ей мои предположенія. Оставаться ей въ крѣпости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабринами,

было невозможно. Нельзя было думать и объ Оренбургѣ, претерпѣвающимъ всѣ бѣдствія осады. У ней не было на свѣтѣ ни одного роднаго чело-вѣка. Я предложилъ ей ѣхать въ деревню къ моимъ родителямъ. Она сначала колебалась: извѣстное ей неблагорасположеніе отца моего ее пугало. Я ее успокоилъ. Я зналъ, что отецъ почтетъ за счастье и вмѣнить себѣ въ обязанность принять дочь заслуженнаго воина, погибшаго за отечество. Милая Марья Ивановна! сказалъ я наконецъ, я почи-таю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства соединили насъ неразрывно: ничто на свѣтѣ не можетъ насъ разлучить. Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной застѣнчивости, безъ затѣйливыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила, что не иначе будетъ моею женою, какъ съ согласія моихъ родителей. Я ей и не противорѣчилъ. Мы поцаловались горячо, искренно — и такимъ образомъ все было между нами рѣшено.

Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ пропускъ, подписанный каракульками Пугачева и позвалъ меня къ нему, отъ его имени. Я нашелъ его готового пуститься въ дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ чело-вѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ одного меня. Зачѣмъ не сказать истины? Въ эту

минуту сильное сочувствіе влекло меня къ нему. Я пламенно желалъ вырвать его изъ среды злодѣевъ, которыми онъ предводительствовалъ, и спасти его голову, пока еще было время. Швабринъ и народъ, толпящійся около насъ, помѣшали мнѣ высказать все, чѣмъ исполнено было мое сердце.

Мы разстались дружески. Пугачевъ, увидя въ толпѣ Акулину Панфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; потомъ сѣлъ въ кибитку, велѣлъ ѣхать въ Берду, и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ мнѣ: «Прощай, ваше благородіе! Авось увидимся когда нибудь.» Мы точно съ нимъ увидѣлись, но въ какихъ обстоятельствахъ! . . . .

Пугачевъ уѣхалъ. Я долго смотрѣлъ на бѣлую степь, по которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ скрылся. Я воротился въ домъ священника. Все было готово къ нашему отъѣзду; я не хотѣлъ болѣе медлить. Добро наше все было уложено въ старую комендантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься съ могилами своихъ родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотѣлъ ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Черезъ нѣсколько минутъ она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отецъ Герасимъ и жена его вышли на

крыльцо. Мы сѣли въ кибитку втроемъ: Марья Ивановна съ Палашей и я. Савельичъ забрался на облучокъ «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петръ Андреичъ, соколъ нашъ ясный!» говорила добрая попадья. «Счастливыи путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счастья?» Мы поѣхали. У окошка комендантскаго дома я увидѣлъ стоящаго Швабрина. Лице его изображало мрачную злобу. Я не хотѣлъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ, и обратилъ глаза въ другую сторону. Наконецъ мы выѣхали изъ крѣпостныхъ воротъ и навѣкъ оставили Бѣлогорскую крѣпость.



## ГЛАВА XIII.

## АРЕСТЪ.

—

Не гнѣвайтесь, сударь: по долгу моему,  
Я долженъ сей же часъ отправить васъ въ тюрьму.  
— Извольте, я готовъ; но я въ такой надеждѣ  
Что дѣло объяснитъ дозволяете мнѣ прежде.

*Князь Иванъ.*

Соединенный такъ нечаянно съ милой дѣвушкою, о которой еще утромъ я такъ мучительно беспокоился, я не вѣрилъ самому себѣ и воображалъ, что все со мною случившееся было пустое сновидѣніе. Марья Ивановна глядѣла съ задумчивостію то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успѣла еще опомниться и притти въ себя. Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Непримѣтнымъ образомъ часа черезъ два очутились мы въ ближней крѣпости, также подвластной

Пугачеву. Здѣсь мы перемѣнили лошадей. По скорости, съ каковой ихъ запрягали, по торопливой услужливости брадатаго казака, поставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увидѣлъ, что, благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго, меня принимали какъ придворнаго временщика.

Мы отправились далѣе. Стало смеркаться. Мы приблизились къ городку, гдѣ по словамъ бородатаго коменданта, находился сильный отрядъ, идущій на соединеніе къ самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопросъ: кто ѣдетъ? ямщикъ отвѣчалъ громогласно: Государевъ кумъ со своею хозяйшкою.» Вдругъ толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною бранью. «Выходи, бѣсовъ кумъ!» сказалъ мнѣ усатый вахмистръ. «Вотъ уже тебѣ будетъ баня, и съ твоею хозяйшкою!»

Я вышла изъ кибитки и требоваль, чтобъ отвели меня къ ихъ начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистръ повель меня къ маіору. Савельичъ отъ меня не отставаль, поговаривая про себя: «Вотъ тебѣ и Государевъ кумъ! Изъ огня да въ поломя... Господи Владыка! чѣмъ это все кончится?» Кибитка шагомъ поѣхала за нами.

Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику ярко освѣщенному. Вахмистръ оставилъ меня при караулѣ и пошелъ обо мнѣ доложить. Онъ тотчасъ

же воротился, объявивъ мнѣ, что его высокоблагородію некогда меня принять, а что онъ велѣлъ отвести меня въ острогъ, я хозяйюшку къ себѣ привести.

— Что это значить? — закричалъ я въ бѣшенствѣ. Да развѣ онъ съ ума сошелъ?

«Не могу знать, ваше благородіе» отвѣчалъ вахмистръ. «Только его высокоблагородіе приказалъ ваше благородіе отвести въ острогъ, а ея благородіе приказано привести къ его высокоблагородію, ваше благородіе!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбѣжалъ въ комнату, гдѣ человѣкъ шесть гусарскихъ офицеровъ играли въ банкъ. Маіоръ металъ. Каково было мое изумленіе, когда, взглянувъ на него, узналъ я Ивана Ивановича Зурина, нѣкогда обыгравшаго меня въ Симбирскомъ трактирѣ!

— Возможно-ли? вскричалъ я. Иванъ Ивановичъ! ты ли?

«Ба, ба, ба, Петръ Андреичъ! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, братъ. Не хочешь ли поставить карточку?»

— Благодарень. Прикажи-ка лучше отвести мнѣ квартиру.

«Какую тебѣ квартиру? Оставайся у меня.»

— Не могу: я не одинъ.

«Ну, подавай сюда и товарища.»

— Я не съ товарищемъ; я . . . съ дамою.

«Съ дамою! Гдѣ же ты ее подцѣпилъ? Эге, братъ!» (При сихъ словахъ Зуринъ засвистѣлъ такъ выразительно, что всѣ захохотали, а я совершенно смутился).

«Ну» продолжалъ Зуринъ; «такъ и быть. Будеть тебѣ квартира. А жаль . . . Мы бы попиروвали по старинному . . . Гей! малый! Да что жъ сюда не ведутъ кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтобъ она не боялась: баринъ - де прекрасный; ничѣмъ не обидить, да хорошенько ее въ шею.»

— Что ты это? — сказалъ я Зурину. Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойнаго капитана Миронова. Я вывезъ ее изъ плѣна и теперь провожаю до деревни Батюшкиной, гдѣ и оставляю ее.

«Какъ! Такъ это о тебѣ мнѣ сейчасъ докладывали? Помилуй! что жъ это значить?»

— Послѣ все расскажу. А теперь, ради Бога, успокой бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.

Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на улицу извиняться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразумѣннѣи, и приказалъ вахмистру отвести ей лучшую квартиру въ городѣ. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, и рассказалъ ему свои похождения. Зуринъ слушалъ меня съ большимъ вниманіемъ. Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и сказалъ: это, братъ, хорошо; одно нехорошо: зачѣмъ тебя чортъ несетъ жениться? Я, честный офицеръ, не захочу тебя обманывать; повѣрь же ты мнѣ, что женитьба блажь. Ну, куда тебѣ возиться съ женою да нянчиться съ ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра жъ одну къ родителямъ твоимъ; а самъ оставайся у меня въ отрядѣ. Въ Оренбургъ возвращаться тебѣ не зачѣмъ. Попадешься опять въ руки бунтовщикамъ, такъ врядъ ли отъ нихъ еще разъ отдѣлаешься. Такимъ образомъ любовная дурь пройдетъ сама собою, и все будетъ ладно.»

Хотя я не совсѣмъ былъ съ нимъ согласенъ, однако жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскѣ Императрицы. Я рѣшился послѣдовать совѣту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревню, и остаться въ его отрядѣ.

Савельичъ явился меня раздѣвать; я объявилъ ему, чтобъ на другой же день готовъ онъ былъ ѣхать въ дорогу съ Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что ты, сударь? Какъ же я тебя-

то покину? Кто за тобою будетъ ходить? Что скажутъ родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамѣрился убѣдить его лаской и искренностію. Другъ ты мой, Архипъ Савельичъ! сказалъ я ему. Не откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ здѣсь я нуждаться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поѣдетъ въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мнѣ, потому что я твердо рѣшился, какъ скоро обстоятельства дозволятъ, жениться на ней.

Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ видомъ изумленія неописаннаго. «Жениться!» повторилъ онъ. «Дитя хочетъ жениться! А что скажетъ батюшка, а матушка-то что подумаетъ?»

Согласятся, вѣрно согласятся, отвѣчалъ я, когда узнаютъ Марью Ивановну. Я надѣюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебѣ вѣрятъ; ты будешь за насъ ходатаемъ, не такъ-ли?

Старикъ былъ тронутъ. «Охъ, батюшка ты мой Петръ Андреичъ!» отвѣчалъ онъ. «Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья Ивановна такая добрая барышня, что грѣхъ и пропустить оказію. Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Божія, и рабски буду доносить твоимъ родителямъ, что такой невѣстѣ ненадобно и приданаго.»

Я благодарилъ Савельича, и легъ спать въ одной комнатѣ съ Зуринымъ. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зуринъ сначала со мною разговаривалъ охотно; но мало-по-малу слова его стали рѣже и безсвязнѣе; наконецъ, вмѣсто отвѣта на какой-то запросъ, онъ захрапѣлъ и присвиснулъ. Я замолчалъ и вскорѣ послѣдовалъ его примѣру.

На другой день утромъ пришелъ я къ Марьѣ Ивановнѣ. Я сообщилъ ей свои предположенія. Она признала ихъ благоразуміе и тотчасъ со мною согласилась. Отрядъ Зурина долженъ былъ выступить изъ города въ тотъ же день. Нечего было медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей Ивановной, поручивъ ее Савельичу и давъ ей письмо къ моимъ родителямъ. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петръ Андреичъ;» сказала - она тихимъ голосомъ. «Придется ли намъ увидѣться или нѣтъ; Богъ одинъ это знаетъ; но вѣкъ не забуду васъ; до могилы ты одинъ останешься въ моемъ сердцѣ.» Я ничего не могъ отвѣчать. Люди насъ окружили. Я не хотѣлъ при нихъ предаваться чувствамъ, которыя меня волновали. Наконецъ она уѣхала. Я возвратился къ Зурину, грустенъ и молчаливъ. Онъ хотѣлъ меня развеселить; я думалъ себя разсѣять: мы провели день шумно и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.

Это было въ концѣ февраля. Зима, затруднявшая военныя распоряженія, проходила, и наши генералы готовились къ дружному содѣйствію. Пугачевъ все еще стоялъ подъ Оренбургомъ. Между тѣмъ около него отряды соединялись и со всѣхъ стороны приближались къ злодѣйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, при видѣ нашихъ войскъ, приходили въ повиновеніе; шайки разбойниковъ вездѣ бѣжали отъ насъ, и все предвѣщало скорое и благополучное окончаніе.

Вскорѣ князь Голицынъ, подъ крѣпостію Татищевой, разбилъ Пугачева, разсѣялъ его толпы, освободилъ Оренбургъ, и, казалось, нанесъ бунту послѣдній и рѣшительный ударъ. Зуринъ былъ въ то время отряженъ противу шайки мятежныхъ Башкирцевъ, которые разсѣялись прежде, нежели мы ихъ увидѣли. Весна осадила насъ въ Татарской деревушкѣ. Рѣчки разлились и дороги стали непроходимы. Мы утѣшались въ нашемъ бездѣйствіи мыслію о скоромъ прекращеніи скучной и мелочной войны съ разбойниками и дикарями.

Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ явился на Сибирскихъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки, и снова началъ злодѣйствовать. Слухъ о его успѣхахъ снова распространился. Мы узнали о разореніи Сибирскихъ крѣпостей. Вскорѣ вѣсть о взятіи Казани и о походѣ самозванца на Москву встревожила

начальниковъ войскъ, безопасно дремавшихъ въ надеждѣ на бессилие презрѣннаго бунтовщика. Зуринъ получилъ повелѣніе переправиться чрезъ Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончанія войны. Скажу коротко, что бѣдствіе доходило до крайности. Правленіе было повсюду прекращено; помѣщики укрывались по лѣсамъ. Шайки разбойниковъ злодѣйствовали повсюду; начальники отдѣльныхъ отрядовъ самовластно наказывали и миловали; состояніе всего обширнаго края, гдѣ свирѣпствовалъ пожаръ, было ужасно . . . . Не приведи, Богъ, видѣть Русскій бунтъ безсмысленный и безошадный!

Путачевъ бѣжалъ, преслѣдуемый Иваномъ Ивановичемъ Михельсономъ. Вскорѣ узнали мы о совершенномъ его разбитіи. Наконецъ Зуринъ получилъ извѣстіе о поимкѣ самозванца, а вмѣстѣ съ тѣмъ и повелѣніе остановиться. Война была кончена. Наконецъ мнѣ можно было ѣхать къ моимъ родителямъ! Мысль ихъ обнять, увидѣть Марью Ивановну, о которой не имѣлъ я никакого извѣстія, одушевляла меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ ребенокъ. Зуринъ смѣялся и говорилъ пожимая плечами: «Нѣтъ, тебѣ не сдобровать! Женишься — ни за что пронадеешь!»

Но между тѣмъ странное чувство отравляло мною радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ

кровію столькихъ невинныхъ жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневолю: Емеля, Емеля! думалъ я съ досадою; зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь? Лучше ничего не могъ бы ты придумать. Что прикажете дѣлать? Мысль о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслию о пощадѣ, данной мнѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.

Зуринъ далъ мнѣ отпущекъ. Черезъ нѣсколько дней долженъ я былъ опять очутиться посреди моего семейства, увидѣть опять мою Марью Ивановну . . . Вдругъ неожиданная гроза меня поразила.

Въ день, назначенный для выѣзда, въ самую ту минуту, когда готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мнѣ въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня въ сердце. Я испугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего деньщика и объявилъ, что имѣеть до меня дѣло. Что такое? — спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Маленькая неприятность» отвѣчалъ онъ, подавая мнѣ бумагу. «Прочитай что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее читать: это былъ секретный приказъ ко всѣмъ отдѣльнымъ начальникамъ арестовать меня, гдѣ

бы ни попался, и немедленно отправить подъ каруломъ въ Казань, въ Слѣдственную Коммиссію, учрежденную по дѣлу Пугачева.

Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Дѣлать нечего!» сказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться приказу. Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ-нибудь да дошелъ до правительства. Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и что ты оправдаешься передъ Коммиссіей. Не унывай и отправляйся.» Совѣсть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкаго свиданія, можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ — устрасала меня. Тележка была готова. Зуринъ дружески со мною простился. Меня посадили въ тележку. Со мною сѣли два гусара съ саблями наголо, и я поѣхалъ по большой дорогѣ.



## ГЛАВА XIV.

## СУДЪ.

—

Мірская молва —  
Морская волна.

*Пословица.*

Я былъ увѣренъ, что виною всему было самовольное мое отсутствіе изъ Оренбурга. Я легко могъ оправдаться: наѣздничество не только никогда не было запрещено, но еще всѣми силами было ободряемо. Я могъ быть обвиненъ въ излишней запальчивости, а не въ ослушаніи. Но пріятельскія сношенія мои съ Пугачевымъ - могли быть доказаны множествомъ свидѣтелей и должны были казаться по-крайней-мѣрѣ весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлялъ я о допросахъ, меня ожидающихъ, обдумывалъ свои отвѣты, и рѣшился

передъ судомъ объявить сущую правду, полагая сей способъ оправданія самымъ простымъ, а вмѣстѣ и самымъ надежнымъ.

Я пріѣхалъ въ Казань, опустошенную и погорѣлую. По улицамъ, на мѣсто домовъ, лежали груды углей и торчали закоптѣлыя стѣны безъ крышъ и оконъ. Таковъ былъ слѣдъ, оставленный Пугачевымъ! Меня привезли въ крѣпость, уцѣлѣвшую посреди сгорѣвшаго города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Онъ велѣлъ кликнуть кузнеца. Надѣли мнѣ на ноги цѣпь и заковали ее наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оставили одного въ тѣсной и темной конуркѣ, съ однимъ голыми стѣнами и съ окошечкомъ, загороженнымъ желѣзною рѣшеткою.

Таковое начало не предвѣщало мнѣ ничего добраго. Однако жъ я не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я прибѣгнулъ къ утѣшенію всѣхъ скорбящихъ, и, впервые вкусивъ сладость молитвы, изліянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною будетъ.

На другой день тюремный сторожъ меня разбудилъ, съ объявленіемъ, что меня требуютъ въ Коммиссію. Два солдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домъ, остановились въ передней и впустили одного во внутреннія комнаты.

Я вошелъ въ залу довольно обширную. За столомъ, покрытымъ бумагами, сидѣли два человѣка: пожилой генераль, виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитанъ, лѣтъ двадцати осьми, очень пріятной наружности, ловкій и свободный въ обращеніи. У окошка за особымъ столомъ сидѣлъ секретарь съ перомъ за ухомъ, наклонясь надъ бумагою, готовый записывать мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о моемъ имени и званіи. Генераль освѣдомился, не сынъ ли я Андрея Петровича Гринева? И на отвѣтъ мой возразилъ сурово: «Жаль, что такой почтенный человѣкъ имѣетъ такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвѣчалъ, что каковы бы ни были обвиненія, тяготѣющія на мнѣ, я надѣюсь ихъ разсѣять чистосердечными объясненіемъ истины. Увѣренность моя ему не понравилась. «Ты, братъ, востеръ» сказалъ онъ мнѣ нахмуясь; «но видали мы и не такихъ!»

Тогда молодой человѣкъ спросилъ меня: по какому случаю и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребленъ?

Я отвѣчалъ съ негодованіемъ, что я, какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать не могъ, и никакихъ порученій отъ него принять не могъ.

«Какимъ же образомъ» возразилъ мой допросчикъ, «дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между тѣмъ какъ всѣ его товарищи злодѣйски умерщвлены? Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодѣя подарки, шубу, лошадь и полтину денегъ? Отчего произошла такая странная дружба и на чемъ она основана, если не на измѣнѣ, или по-крайней-мѣрѣ на гнусномъ и преступномъ малодушіи?»

Я былъ глубоко оскорбленъ словами гвардейскаго офицера, и съ жаромъ началъ свое оправданіе. Я рассказалъ, какъ началось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи, во время бурана; какъ при взятіи Бѣлогорской крѣпости онъ меня узналъ и пощадилъ. Я сказалъ, что тулупъ и лошадь, правда, не посоветился я принять отъ самозванца; но что Бѣлогорскую крѣпость защищалъ я противу злодѣя до послѣдней крайности. Наконецъ я сослался и на моего генерала, который могъ засвидѣтельствовать мое усердіе во время бѣдственной Оренбургской осады.

Строгий старикъ взялъ со стола открытое письмо и сталъ читать его вслухъ:

«На запросъ вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, яко бы замѣшаннаго въ нынѣшнемъ смятеніи и вошедшаго въ сношенія

съ злодѣемъ, службою недозволенныя и долгу присяги противныя, объяснить имѣю честь: оный прапорщикъ Гриневъ находился на службѣ въ Оренбургѣ отъ начала октября прошлаго 1773 года до 24 февраля нынѣшняго года, въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той поры уже въ команду мою не являлся. А слышно отъ перебѣжчиковъ, что онъ былъ у Пугачева въ слободѣ и съ нимъ вмѣстѣ ѣздилъ въ Бѣлогорскую крѣпость, въ коей прежде находился онъ на службѣ; что касается до его поведенія, то я могу . . .» Тутъ онъ прервалъ свое чтеніе, и сказалъ мнѣ сурово: «Что ты теперь скажешь себѣ въ оправданіе?»

Я хотѣлъ-было продолжать какъ началъ, и объяснить мою связь съ Марьей Ивановной также искренно, какъ и все прочее. Но вдругъ почувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Мнѣ пришло въ голову, что если назову ее, то Коммиссія потребуетъ ее къ отвѣту; и мысль впутать имя ея между гнусными извѣтами злодѣевъ и ее самую привести на очную съ ними ставку — эта ужасная мысль такъ меня поразила, что я замаялся и спутался.

Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвѣты мои съ нѣкоторою благосклонностію, были снова предубѣждены противу меня при видѣ моего смущенія. Гвардейскій офицеръ потребовалъ,

чтобъ меня поставили на очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генераль велѣлъ кликнуть *вчерашняго злодѣя*. Я съ живостію обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего обвинителя. Черезъ нѣсколько минутъ загремѣли цѣпи, двери отворились, и вошелъ — Швабринъ. Я изумился его перемѣнѣ. Онъ былъ ужасно худъ и блѣденъ. Волоса его, недавно черные какъ смоль, совершенно посѣдѣли; длинная борода была включена. Онъ повторилъ обвиненія свои слабымъ, но смѣлымъ голосомъ. По его словамъ, я отряженъ былъ отъ Пугачева въ Оренбургъ шпиономъ; ежедневно выѣзжалъ на перестрѣлки, дабы передавать письменныя извѣстія о всемъ, что дѣлалось въ городѣ; что наконецъ явно передался самозванцу, разъѣзжалъ съ нимъ изъ крѣпости въ крѣпость, стараясь всячески губить своихъ товарищей — измѣнниковъ, дабы занимать ихъ мѣста и пользоваться наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушалъ его молча и былъ доволенъ однимъ: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнуснымъ злодѣемъ, отъ того ли, что самолюбіе его страдало при мысли о той, которая отвергла его съ презрѣніемъ; отъ того ли, что въ сердцѣ его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — какъ бы то ни было, имя дочери Бѣлогорскаго коменданта не было произне-

сено въ присутствіи Коммиссіи. Я утвердился еще болѣе въ моемъ намѣреніи, и когда судьи спросили: чѣмъ могу опровергнуть показанія Швабрина, я отвѣчалъ, что держусь перваго своего объясненія и ничего другаго въ оправданіе себѣ сказать не могу. Генераль велѣлъ насъ вывести. Мы вышли вмѣстѣ. Я спокойно взглянулъ на Швабрина, но не сказалъ ему ни слова. Онъ усмѣхнулся злобною усмѣшкою, и, приподнявъ свои цѣпи, опередилъ меня и ускорилъ свои шаги. Меня опять отвели въ тюрьму и съ тѣхъ поръ уже къ допросу не требовали.

Я не былъ свидѣтелемъ всему, о чемъ остается мнѣ увѣдомить читателя; но я такъ часто слыхалъ о томъ рассказы, что малѣйшія подробности врѣзались въ мою память, и что мнѣ кажется, будто бы я тутъ же невидимо присутствовалъ.

Марья Ивановна принята была моими родителями съ тѣмъ искреннимъ радушіемъ, которое отличало людей стараго вѣка. Они видѣли благодать Божію въ томъ, что имѣли случай пріютить и обласкать бѣдную сироту. Вскорѣ они къ ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшкѣ пустою блажью; а матушка только того и желала, чтобъ ея Петруша женился на милой капитанской дочкѣ.

Слухъ о моемъ арестѣ поразилъ все мое семейство. Марья Ивановна такъ просто рассказала моимъ родителямъ о странномъ знакомствѣ моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не беспокоило ихъ, но еще заставляло часто смѣяться отъ чистаго сердца. Батюшка не хотѣлъ вѣрить, чтобы я могъ быть замѣшанъ въ гнусномъ бунтѣ, коего цѣль была ниспроверженіе престола и истребленіе дворянскаго рода. Онъ строго допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, что баринъ бывалъ въ гостяхъ у Емельки Пугачева, и что - де злодѣй его таки жаловалъ; но клялся, что ни о какой измѣнѣ онъ и не слыхивалъ. Старики успокоились и съ нетерпѣніемъ стали ждать благопріятныхъ вѣстей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени была одарена скромностію и осторожностію.

Прошло нѣсколько недѣль . . . Вдругъ батюшка получаетъ изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника князя \*\*. Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго приступа, онъ объявилъ ему, что подозрѣнія насчетъ участія моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что Государыня изъ уваженія къ заслугамъ и преклоннымъ лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать преступнаго

сына, и избавляя его отъ позорной казни, повелѣла только сослать въ отдаленный край Сибири на вѣчное поселеніе.

Сей неожиданный ударъ едва не убилъ отца моего. Онъ лишился обыкновенной своей твердости и горестъ его (обыкновенно нѣмая) изливалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ!» «повторялъ онъ, выходя изъ себя. «Сынъ мой участвовалъ въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его отъ казни! Отъ этого развѣ мнѣ легче? Не казнь страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мѣстѣ, отстаивая то, что почиталъ святынею своей совѣсти; отецъ мой пострадалъ вмѣстѣ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измѣнить своей присягѣ, соединиться съ разбойниками, съ убійцами, съ бѣглыми холопьями! . . . Стыдъ и срамъ нашему роду!» . . . Испуганная его отчаяніемъ матушка не смѣла при немъ плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря о невѣрности молвы, о шаткости людскаго мнѣнія. Отецъ мой былъ неутѣшенъ.

Марья Ивановна мучилась болѣе всѣхъ. Будучи увѣрена, что я могъ оправдаться, когда бы только захотѣлъ, она догадывалась объ истинѣ и почитала себя виновницею моего несчастія. Она скрывала отъ всѣхъ свои слезы и страданія, и между тѣмъ

непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня спасти.

Однажды вечеромъ батюшка сидѣлъ на диванѣ, перевертывая листы Придворнаго Календаря; но мысли его были далеко, и чтеніе не производило надъ нимъ обыкновеннаго своего дѣйствія. Онъ насвистывалъ старинный маршъ. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изрѣдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, тутъ же сидѣвшая за работой, объявила, что необходимость ея заставляетъ ѣхать въ Петербургъ, и что она проситъ дать ей способъ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачѣмъ тебѣ въ Петербургъ?» сказала она. «Неужь-то, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?» Марья Ивановна отвѣчала, что вся будущая судьба ея зависитъ отъ этого путешествія, что она ѣдетъ искать покровительства и помощи у сильныхъ людей, какъ дочь человѣка, пострадавшаго за свою вѣрность.»

Отецъ мой потупилъ голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимъ упрекомъ. «Поѣзжай, матушка!» сказалъ онъ ей со вздохомъ. «Мы твоему счастью помѣхи сдѣлать не хотимъ. Дай, Богъ, тебѣ въ женихи добраго человѣка, не опельманнаго измѣнника.» Онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наединѣ съ матушкою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ концѣ замышленнаго дѣла. Марью Ивановну снарядили, и черезъ нѣсколько дней она отправилась въ дорогу съ вѣрною Палашой и съ вѣрнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, утѣшался по-крайней-мѣрѣ мыслию, что служить нареченной моей невѣстѣ.

Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію и узнавъ, что Дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣшилась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что она племянница придворнаго истопника и посвятила ее во всѣ тайнства придворной жизни. Она рассказала, въ которомъ часу Государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ; — словомъ разговоръ Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоценъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ пошли въ садъ. Анна Власьевна рассказала исторію каждой аллеи и cadaго

мостики, и, нагулявшись, онѣ возвратились на станцію, очень довольныя другъ другомъ.

На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась, одѣлась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекрасное, солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдѣ только - что поставленъ былъ памятникъ въ честь недавнихъ побѣдъ графа Петра Александровича Румянцева. Вдругъ бѣлая собачка Англійской породы залаяла и побѣжала ей навстрѣчу; Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ: «Не бойтесь, она не укуситъ.» И Марья Ивановна увидѣла даму, сидѣвшую на скамейкѣ противу памятника. Марья Ивановна сѣла на другомъ концѣ скамейки. Дама пристально на нее смотрѣла; а Марья Ивановна, съ своей стороны бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла рассмотреть ее съ ногъ до головы. Она была въ бѣломъ утреннемъ платьѣ, въ ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей, казалось, лѣтъ сорокъ. Лице ея, полное и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голубые глаза и

легкая улыбка имѣли прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчаніе.

«Вы вѣрно не здѣшнія?» сказала она.

— Точно такъ-съ: я вчера только пріѣхала изъ провинціи.

«Вы пріѣхали съ вашими родными?»

— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала одна.

«Одна! Но вы такъ еще молоды.»

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери.

«Вы здѣсь конечно по какимъ нибудь дѣламъ?»

— Точно такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу Государынѣ.

«Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, а не правосудія.

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

— Я дочь капитана Миронова.

«Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ въ одной изъ Оренбургскихъ крѣпостей?»

— Точно такъ-съ.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня» сказала она голосомъ еще болѣе ласковымъ, «если я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла; но я бываю при Дворѣ; изъясните мнѣ, въ чемъ состоитъ ваша

просьба, и, можетъ быть, мнѣ удастся вамъ помочь.»

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекало сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительницѣ, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лице ея переѣнилось — и Марья Ивановна, слѣдовавшая глазами за всѣми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этаго лица, за минуту столь пріятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ видомъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ самозванцу не изъ невежества и легковѣрія, но какъ безирравственный и вредный негодяй.»

— Ахъ, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

«Какъ, неправда!» возразила дама, вся вспыхнувъ.

— Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все вамъ расскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ, то развѣ потому только, что не хотѣлъ запутать меня. — Тутъ она съ

жаромъ разсказала все, что уже извѣстно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманіемъ «Гдѣ вы остановились?» спросила она потомъ; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрѣчѣ. Я надѣюсь, что вы недолго будете ждать отвѣта на ваше письмо.»

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевнѣ, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было-принялась за безконечные рассказы о Дворѣ, какъ вдругъ придворная карета остановилась у крыльца, и камеръ-лакей вошелъ съ объявленіемъ, что Государыня изволить къ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.

Анна Власьева изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи!» закричала она. «Государыня требуетъ васъ ко Двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка, представитесь къ Императрицѣ? Вы, я чай, и ступить по придворному не умѣете . . . Не проводить ли мнѣ васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ-нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ѣхать въ

дорожномъ платьѣ? Не послать ли къ повивальной бабушкѣ за ея желтымъ роброномъ?» Каммеръ-лакей объявилъ, что Государынѣ угодно было, чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ. Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла въ карету и поѣхала во дворецъ, сопровождаемая совѣтами и благословеніями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы; сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ нѣсколько минутъ карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею открылись настежь. Она прошла длинный рядъ пустыхъ, великолѣпныхъ комнатъ; каммеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложить, и оставилъ ее одну.

Мысль увидѣть Императрицу лицомъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Чрезъ минуту двери открылись, и она вошла въ уборную Государыни.

Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно изъяс-

снялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло ваше кончено. Я убѣждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.»

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою, и, заплакавъ, упала къ ногамъ Императрицы, которая подняла ее и поцаловала. Государыня разговорилась съ нею. «Знаю, что вы не богаты» сказала она; «но я въ долгу передъ дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.»

Обласкавъ бѣдную сироту, Государыня ее отпустила. Марья Ивановна уѣхала въ той же придворной каретѣ. Анна Власьева, нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна Власьева хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но приписала оное провинціальной застѣнчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поѣхала въ деревню...

---

Здѣсь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Изъ семейственныхъ преданій извѣстно,

что онъ былъ освобожденъ отъ заключенія въ концѣ 1774 года, по именному повелѣнiю; что онъ присутствовалъ при казни Пугачева, который узналъ его въ толпѣ и кивнулъ ему головою, которая черезъ минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскорѣ потомъ Петръ Андреевичъ женился на Марьѣ Ивановнѣ. Потомство ихъ благоденствуетъ въ Симбирской Губернiи. Въ тридцати верстахъ отъ \*\*\* находится село, принадлежащее десятерымъ помѣщикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигелей показываютъ собственно-ручное письмо Екатерины II за стекломъ и въ рамкѣ. Оно писано къ отцу Петра Андреевича и содержитъ оправданiе его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова.





**КИРДЖАЛИ.**



## КИРДЖАЛИ.



Кирджали былъ родомъ Булгарь. Кирджали на Турецкомъ языкѣ значитъ витязь, удалецъ. Настоящаго его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводилъ ужасъ на всю Молдавію. Чтобъ дать объ немъ нѣкоторое понятіе, расскажу одинъ изъ его подвиговъ. Однажды ночью онъ и Арнаутъ Михайлаки напали вдвоемъ на Булгарское селеніе. Они зажгли его съ двухъ концевъ, и стали переходить изъ хижины въ хижину. Кирджали рѣзалъ, а Михайлаки несъ добычу. Оба кричали : Кирджали! Кирджали! Все селеніе разбѣжалось.

Когда Александръ Ипсиланти обнарудовалъ возмущеніе и началъ набирать себѣ войска, Кирджали привелъ къ нему нѣсколько старыхъ своихъ товарищей. Настоящая цѣль Этеріи была имъ худо извѣстна, но война представляла случай обогатиться на счетъ Турковъ, а можетъ быть, и Молдаванъ — и это казалось имъ очевидно.

Александръ Ипсиланти былъ лично храбръ, но не имѣлъ свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся такъ горячо и такъ неосторожно. Онъ не умѣлъ сладить съ людьми, которыми принужденъ былъ предводительствовать. Они не имѣли къ нему ни уваженія, ни довѣренности. Послѣ несчастнаго сраженія, гдѣ погибъ цвѣтъ Греческаго юношества, Йордаки Олимпіоти присовѣтовалъ ему удалиться, и самъ заступилъ его мѣсто. Ипсиланти ускакалъ къ границамъ Австріи, и оттуда послалъ свое проклятіе людямъ, которыхъ называлъ ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи, большею частію, погибли въ стѣнахъ монастыря Секу или на берегахъ Прута, отчаянно защищаясь противу непріятеля, десятиро сильнѣйшаго.

Кирджали находился въ отрядѣ Георгія Кантакузина, о которомъ можно повторить то-же самое, что сказано о Ипсиланти. Наканунъ сраженія подъ Скулянами, Кантакузинъ просилъ у Русскаго начальства позволенія вступить въ нашъ карантинъ. Отрядъ остался безъ предводителя; но Кирджали, Сафіанось, Кантагони и другіе не находили никакой нужды въ предводителѣ.

Сраженіе подъ Скулянами, кажется, никѣмъ не описано во всей его трогательной истинѣ. Вообразите себѣ 700 человекъ Арнаутовъ, Албанцевъ,

Грековъ, Булгаръ и всякаго сброду, не имѣющихъ понятія о военномъ искусствѣ, и отступающихъ въ виду пятнадцати тысячъ Турецкой конницы. Этотъ отрядъ прижался къ берегу Прута, и выставилъ передъ собою двѣ маленькія пушечки, найденныя въ Яссахъ на дворѣ господаря, и изъ которыхъ, бывало, палили во время именинныхъ обѣдовъ. Турки рады были бы дѣйствовать картечью, но не смѣли безъ позволенія Русскаго начальства: картечь непременно перелетѣла бы на нашъ берегъ. Начальникъ карантинъ (нынѣ уже покойникъ), сорокъ лѣтъ служившій въ военной службѣ, отроду не слыхивалъ свиста пуль; но тутъ Богъ привелъ услышать. Нѣсколько ихъ прожужжали мимо его ушей. Старичекъ ужасно разсердился, и разбранилъ за то маіора Охотскаго пѣхотнаго полка, находившагося при карантинѣ. Маіоръ, не зная, что дѣлать, побѣжалъ къ рѣкѣ, за котóрой гарцовали Делибаши, и погрозилъ имъ пальцемъ. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь Турецкій отрядъ. Маіоръ, погрозившій пальцемъ, назывался Хорчевскій. Не знаю, что съ нимъ сдѣлалось.

На другой день, однако жъ, Турки атаковали Этеристовъ. Не смѣя употреблять ни картечи, ни ядеръ, они рѣшились, вопреки своему обыкновению, дѣйствовать холоднымъ оружіемъ. Сра-

женіе было жестоко. Рѣзались атаганами. Со стороны Турковъ замѣчены были копьѣя, дотолѣ у нихъ небывалыя; эти копьѣя были Русскія: Некрасовцы сражались въ ихъ рядахъ. Этеристы, съ разрѣшенія нашего Государя, могли перейти Прутъ и скрыться въ нашемъ карантинѣ. Они начали переправляться. Кантагони и Сафіанось остались послѣдніе на Турецкомъ берегу. Кирджали, раненый наканунѣ, лежалъ уже въ карантинѣ. Сафіанось былъ убитъ. Кантагони, человѣкъ очень толстый, раненъ былъ копьемъ въ брюхо. Онъ одной рукою поднималъ саблю, другою схватился за вражеское копьѣе, всадилъ его въ себя глубже, и такимъ образомъ могъ достать саблю своего убійцу, съ которымъ вмѣстѣ и повалился.

Все было кончено. Турки остались побѣдителями. Молдавія была очищена. Около шести сотъ Арнаутовъ разсыпались по Бессарабіи; не вѣдая, чѣмъ себя прокормить, они все-жъ были благодарны Россіи за ея покровительство. Они вели жизнь праздную, но не безпутную. Ихъ можно всегда было видѣть въ кофейняхъ полу-турецкой Бессарабіи, съ длинными чубуками во рту, прихлебывающихъ кофейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя куртки и красныя востроносые туфли начинали ужъ изнашиваться, но хохлатая скуфейка все-же еще надѣта была на-бе-

кренъ, а атаганы и пистолеты все еще торчали изъ-за широкихъ поясовъ. Никто на нихъ не жаловался. Нельзя было и подумать, чтобъ эти мирные бѣдняки были извѣстнѣйшіе Клефты Молдавіи, товарищи грознаго Кирджали, и чтобъ онъ самъ находился между ними.

Паша, начальствовавшій въ Яссахъ, о томъ узналъ, и на основаніи мирныхъ договоровъ, потребовалъ отъ Русскаго начальства выдачи разбойника.

Полиція стала доискиваться. Узнали, что Кирджали, въ самомъ дѣлѣ, находится въ Кишеневѣ. Его поймали въ домѣ бѣглаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ, сидя въ потемкахъ съ семью товарищами.

Кирджали засадили подѣ карауль. Онъ не сталъ скрывать истины, и признался, что онъ Кирджали. «Но, прибавилъ онъ, съ тѣхъ поръ, какъ я перешелъ за Прутъ, я не тронулъ ни волоса чужаго добра, не обидѣлъ и послѣдняго Цыгана. Для Турковъ, для Молдаванъ, для Валаховъ я, конечно, разбойникъ, но для Русскихъ я гость. Когда Сафаносъ, разстрѣлявъ всю свою картечь, пришелъ къ намъ въ карантинъ, отбирая у раненыхъ для послѣднихъ зарядовъ пуговицы, гвозди, цѣпочки и набалдашники съ атагановъ, я отдалъ ему двадцать бешлыковъ, и остался безъ денегъ. Богъ

«видить, что я, Кирджали, жилъ подаяніемъ! За что же теперь Русскіе выдаютъ меня моимъ «врагамъ?» Послѣ того Кирджали замолчалъ и спокойно сталъ ожидать разрѣшенія своей участи.

Онъ дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотрѣть на разбойниковъ съ ихъ романтической стороны, и убѣжденное въ справедливости требованія, повелѣло отправить Кирджали въ Яссы.

Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвѣстный молодой чиновникъ, нынѣ занимающій важное мѣсто, живо описывалъ мнѣ его отъѣздъ.

У воротъ острога стояла почтовая каруца... (Можетъ быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, въ которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь кляченокъ. Молдаванъ въ усахъ и въ бараньей шапкѣ, сидя верхомъ на одной изъ нихъ, поминутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кляченки его бѣжали рысью довольно крупной. Если одна изъ нихъ начинала приставать, то онъ отпрягалъ ее съ ужасными проклятіями, и бросалъ на дорогѣ, не заботясь объ ея участи. На обратномъ пути онъ увѣренъ былъ найти ее на томъ же мѣстѣ, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нерѣдко случалось, что путешественникъ, выѣхавшій изъ

одной станціи на восьми лошадахъ, прїѣзжалъ на другую на парѣ. Такъ было лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Нынѣ въ обрусѣвшей Бессарабіи переняли Русскую упряжь и Русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у воротъ острога въ 1821 году, въ одно изъ послѣднихъ чиселъ Сентября мѣсяца. Жидовки, спустя рукава и шлепа туфлями, Арнауты въ своемъ оборванномъ и живописномъ нарядѣ, стройныя Молдаванки съ черноглазыми ребятами на рукахъ, окружали каруцу. Мужчины хранили молчаніе, женщины съ жаромъ чего-то ожидали.

Ворота отворились, и нѣсколько полицейскихъ офицеровъ вышли на улицу; за ними двое солдатъ вывели скованнаго Кирджали.

Онъ казался лѣтъ тридцати. Черты смуглаго лица его были правильны и суровы. Онъ былъ высокаго росту, широкоплечъ, и вообще въ немъ изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкій поясъ обхватывалъ тонкую поясницу; долиманъ изъ толстаго синяго сукна, широкія складки рубахи, падающія выше колѣнъ, и красивыя туфли составляли остальной его нарядъ. Видъ его былъ гордъ и спокоенъ.

Одинъ изъ чиновниковъ, краснорожій старичекъ, въ полиняломъ мундирѣ, на которомъ бол-

тались три пуговицы, прищемиль оловянными очками багровую шишку, замѣнявшую у него носъ, развернул бумагу и, гнуся, началъ читать на Молдавскомъ языкѣ. Время отъ времени онъ надменно взглядывалъ на скованнаго Кирджали, къ которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушалъ его со вниманіемъ. Чиновникъ кончилъ свое чтеніе, сложилъ бумагу, грозно прикрикнулъ на народъ, приказавъ ему раздаться — и велѣлъ подвести каруцу. Тогда Кирджали обратился къ нему, и сказалъ ему нѣсколько словъ на Молдавскомъ языкѣ; голосъ его дрожалъ, лице измѣнилось; онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейскаго чиновника, загремѣвъ своими цѣпями. Полицейскій чиновникъ, испугавшись, отскочилъ; солдаты хотѣли-было приподнять Кирджали, но онъ всталъ самъ, подобралъ свои кандалы, шагнулъ въ каруцу и закричалъ: *Гайда!* Жандармъ сѣлъ подлѣ него, Молдаванъ хлопнулъ бичемъ, и каруца покатилаься.

Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой чиновникъ у полицейскаго.

Онъ (видите-съ) просилъ меня, отвѣчалъ, смѣясь, полицейскій, чтобъ я позаботился о его женѣ и ребенкѣ, которые живутъ недалече отъ Киіи въ Болгарской деревнѣ — онъ боится, чтобъ и они *изъ-за него* не пострадали. Народъ глухой-съ.

Разсказъ молодаго чиновника сильно меня тронулъ. Мнѣ было жаль бѣднаго Кирджали. Долго не зналъ я ничего объ его участи. Нѣсколько лѣтъ ужъ спустя, встрѣтился я съ молодымъ чиновникомъ. Мы разговорились о прошедшемъ. А что вашъ пріятель Кирджали? спросилъ я; не знаете-ли, что съ нимъ сдѣлалось?

Какъ не знать, отвѣчалъ онъ, и разсказалъ мнѣ слѣдующее :

Кирджали, привезенный въ Яссы, представленъ былъ пашѣ, который присудилъ его быть посажену на колы. Казнь отерочили до какого-то праздника. Покамѣсть заключили его въ тюрьму.

Невольника стерегли семеро Турокъ (люди простые и въ душѣ такіе-же разбойники, какъ и Кирджали); они уважали его, и съ жадностію, общему всему Востоку, слушали его чудные разсказы.

Между стражами и невольникомъ завелась тѣсная связь. Однажды Кирджали сказалъ имъ : Братья! часъ мой близокъ. Никто своей судьбы не избѣжить. Скоро я съ вами разстанусь. Мнѣ хотѣлось бы вамъ оставить что-нибудь на память.

Турки развѣсили уши.

Братья, продолжалъ Кирджали, три года тому назадъ, какъ я разбойничалъ съ покойнымъ Михайлаки: мы зарыли въ степи, недалече отъ Яссъ, котель съ *гальбинами*. Видно ни мнѣ, ни ему не

владѣть этимъ кладомъ. Такъ и быть : возьмите его себѣ, и раздѣлите полюбовно.

Турки чуть съ ума не сошли. Пошли толки, какъ имъ будетъ найти завѣтное мѣсто? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали самъ ихъ повелъ.

Настала ночь. Турки сняли оковы съ ногъ невольника, связали ему руки веревкою, и съ нимъ отправились изъ города въ степь.

Кирджали ихъ повелъ, держась одного направленія, отъ одного кургана къ другому. Они шли долго. Наконецъ Кирджали остановился близъ широкаго камня, отмѣрялъ двѣнадцать шаговъ на полдень, топнулъ и сказалъ : *здесь*.

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на стражѣ. Кирджали сѣлъ на камень, и сталъ смотрѣть на ихъ работу.

Ну что? скоро ли? спрашивалъ онъ, дорылись-ли? Нѣтъ еще, отвѣчали Турки, и работали такъ, что потъ лилъ съ нихъ градомъ.

Кирджали сталъ оказывать нетерпѣнїе. Экой народъ, говорилъ онъ. И землю-то копать порядочно не умѣютъ. Да у меня дѣло было-бы кончено въ двѣ минуты. Дѣти! развяжите мнѣ руки, дайте атаганъ.

Турки призадумались, и стали совѣтоваться. Что же? (рѣшили они) развяжемъ ему руки, да-

димъ атаганъ. Что за бѣда? Онъ одинъ, насъ семеро. И Турки развязали ему руки и дали ему атаганъ.

Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и вооруженъ. Что-то долженъ онъ былъ почувствовать!... Онъ сталъ проворно копать, сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ одного изъ нихъ вонзилъ свой атаганъ и, оставя булатъ въ его груди, выхватилъ изъ-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженнаго двумя пистолетами, разбѣжались.

Кирджали нынѣ разбойничаетъ около Яссы. Недавно писалъ онъ господарю, требуя отъ него пяти тысячъ *левоу*, и грозясь, въ случаѣ неисправности въ платежѣ, зажечь Яссы, и добратъся до самаго господаря. Пять тысячъ левоу были ему доставлены.

Каковъ Кирджали?

КОНЕЦЪ СЕДМЬАГО ТОМА.

## ОГЛАВЛЕНИЕ СЕДЬМАГО ТОМА.

—

### Повѣсти.

Пиковая дама.....	7
Капитанская дочка.....	59
Кирджали.....	247

